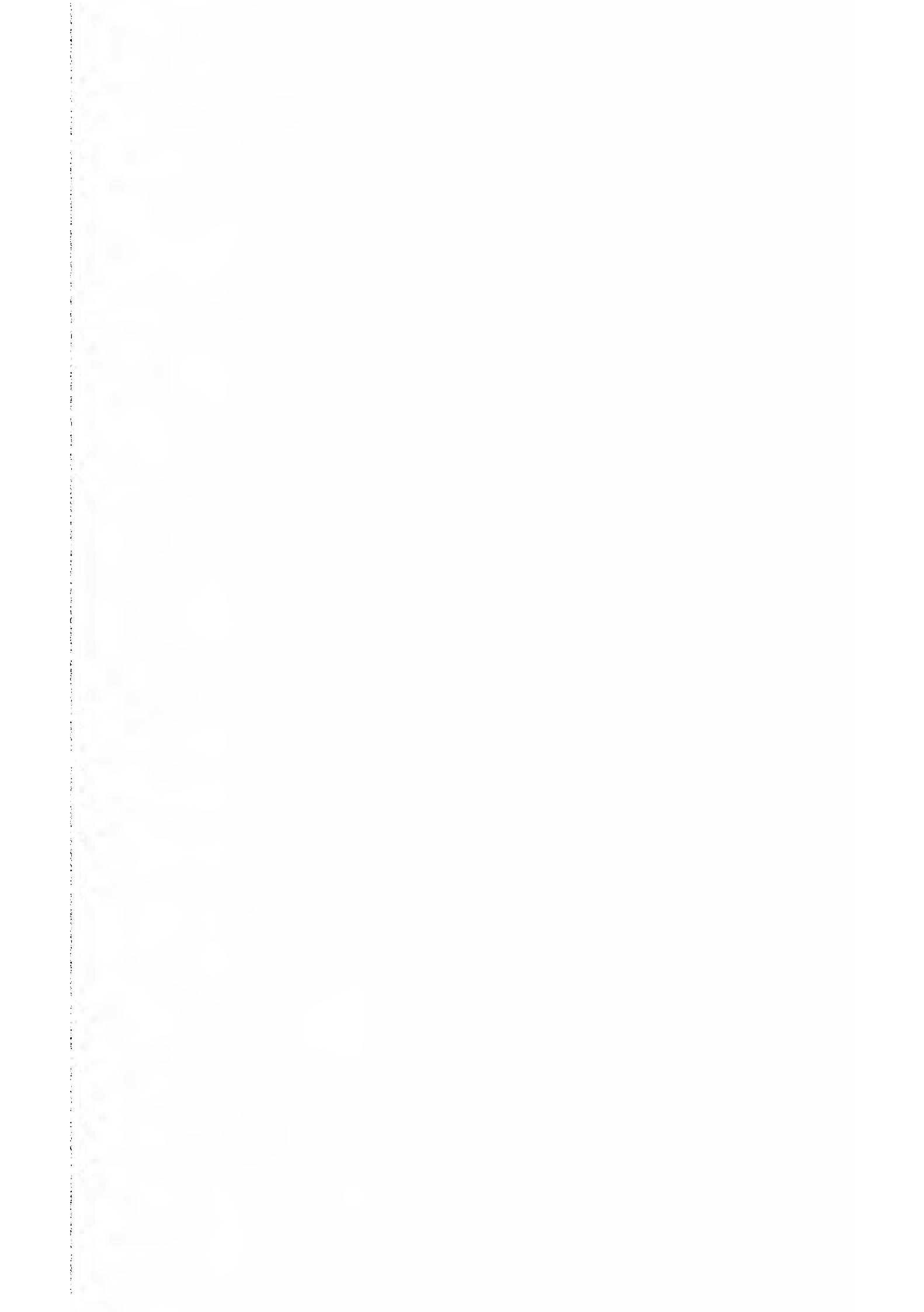
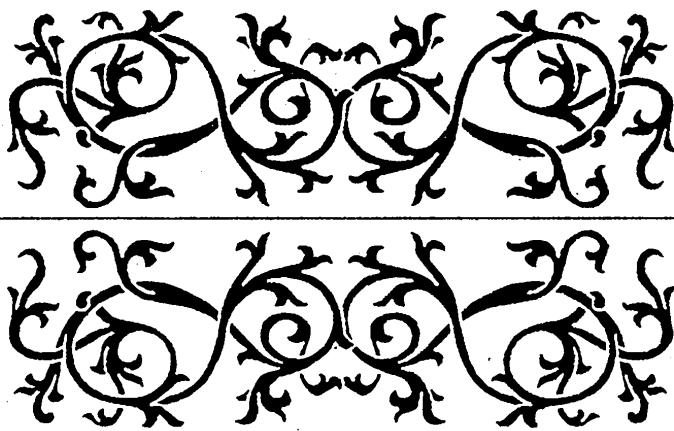


Из “Бесед о любви”



АНЬОЛО  
ФИРЕНЦУОЛЫ





НИККОЛО, НАПРАВЛЯВШИЙСЯ В ВАЛЕНСИЮ,  
ЗАНЕСЕН СИЛЬНОЙ БУРЕЙ В БЕРБЕРИЮ  
И ПРОДАН В РАБСТВО. ЖЕНА ХОЗЯИНА В НЕГО  
ВЛЮБЛЯЕТСЯ И ИЗ-ЗА ЛЮБВИ К НЕМУ СТАНОВИТСЯ  
ХРИСТИАНКОЙ. БЕЖАВ ВМЕСТЕ С НЕЙ НА КОРАБЛЕ  
ОДНОГО ИЗ СВОИХ ДРУЗЕЙ, ОН ПОПАДАЕТ  
В СИЦИЛИЮ; ТАМ ИХ УЗНАЮТ И ОБРАТНО  
ОТПРАВЛЯЮТ К ЦАРЮ. НЕ ДОЕЗЖАЯ ТУНИСА,  
ОНИ ОТБРОШЕНЫ БУРЕЙ В ЛИВОРНО, ГДЕ, БУДУЧИ  
ЗАХВАЧЕНЫ КОРСАРАМИ, ЗАТЕМ СПАСАЮТСЯ  
И, ВЕРНУВШИСЬ ВО ФЛОРЕНЦИЮ, ЖИВУТ СЧАСТЛИВО

Так вот, жили в наших краях<sup>1</sup>, а было это очень давно, два гражданина высокого происхождения и богато одаренные благами Фортуны, которые, не довольствуясь подвигами своих предков и не считая чужие деяния за истинные украшения, приобрели себе славу и признание собственными деяниями и тем самым больше прославили свой род, чем он их; а ученостью, обходительностью, равно как и множеством иных достоинств, они стяжали себе во Флоренции такое имя, что счастлив был бы тот, кто

<sup>1</sup> Имеется в виду Флоренция или ее окрестности.

сумел бы похвастаться лучшим; в числе же прочего, что было в них похвального, они питали друг к другу такую любовь и столь сердечную братскую привязанность, что во всякое время, где был один, там был и другой, чего хотел один, того хотел и другой.

Так жили эти юноши похвальной и спокойной жизнью, но Фортуна, казалось, стала им завидовать, ибо случилось, что один из двух друзей, Никколо дельи Альбици, получил известие о смерти брата своей матери, богатейшего купца в Валенсии, который, не имея ни детей, ни других близких родственников оставил его своим единственным наследником. Посему Никколо, дабы увидеть свое достояние собственными глазами, решил отправиться в Испанию, а для этой цели он попросил Коппо (так звали его друга) отправиться вместе с ним, и тот согласился с великой радостью.

И уже оставалось им выбрать день отъезда, как вдруг им на беду, а может быть, на счастье, как раз в то время, когда они собирались уехать, отец Коппо, по имени Джован Баттиста Каниджани, так тяжко занемог, что по прошествии немногих дней преставился. Таким образом, если Никколо хотел ехать, ему приходилось ехать одному; и вот он, покидая своего друга скрепя сердце, особливо же в таких обстоятельствах, но принуждаемый необходимостью, направил свой путь в Геную и там, сев на генуэзский корабль, пустился в плавание.

Но Фортуна всемерно препятствовала этому путешествию, ибо не успел он отъехать на сто миль от берега, как вдруг, на заходе солнца, море, побелев, начало вздуваться и множеством других знамений стало угрожать им великой бурей. Посему, тотчас же приметив это, хозяин корабля хотел распорядиться как можно скорее предотвратить беду, но дождь и ветер внезапно обрушились на судно с таким неистовством, что не позволяли делать то, что было необходимо; к тому же воздух вдруг потемнел настолько, что уже ничего нельзя было разглядеть, разве только тогда, когда внезапно вспыхивала молния, которая тут же и столь же внезапно погружала их в еще большую темень, придавая окружающему еще более ужасный и устрашающий вид.

Сколь жалкое зрелище являли собою бедные пассажиры, которые также пытались бороться с небесными громами, но очень часто делали как раз обратное тому, что было нужно! А если хозяин им что-либо говорил, то страшный шум падающего дождя и разбивающихся друг о друга волн, скрип снастей и свист парусов, а также раскаты грома и стрелы молний создавали такой жуткий грохот, что никто не мог расслышать ни слова; и чем больше росла беда, тем больше теряли они силы и присутствие духа. Как вы думаете, каково было на сердце у этих несчастных при виде корабля, который то словно хотел вознестись на небо, то в следующее мгновение, рассекая море, словно стремился погрузиться в преисподнюю? Как, полагаете вы, вставали у них дыбом волосы, когда казалось, будто все небо, превратившись в воду, готово было дождем низринуться в море, а море, вздуваясь, вот-вот готово было взгромоздиться на небо? Каково, считаете вы, было состояние их духа при виде того, как другие выбрасывали в море их лучшее добро, или когда они сами его выбрасывали во избежание худшего зла?

Изнемогавший под ударами, брошенный на произвол ветров, то гонимый ими, то сотрясаемый валами, полный воды корабль носился в поисках утеса, который положил бы конец страданиям злосчастных мореходов, а они, уже больше не зная, что делать, обнимая и целуя друг друга, предавались плачу и воплям о спасении, насколько им хватало глотки. О, сколько было таких, которые, сами нуждаясь в утешении, хотели утешить других, но слова их прерывались вздохами или слезами! О, сколько было таких, которые совсем недавно глумились над небом, а теперь казались монашками на молитве! Кто взывал к деве Марии, кто к св. Николаю Барийскому, кто громкими воплями призывал св. Иеремию, кто хотел идти ко гробу господню, кто сделаться монахом, кто жениться из любви к господу; этот купец готов отказаться от всего нажитого, тот покончить с ростовщичеством; кто зовет отца, кто мать, кто вспоминает друзей, кто детей. Необходимость видеть страдания друг друга, сочувствовать друг другу, слышать

жалобы друг друга — все это тысячекратно усугубляло бедствие.

И вот в то время как несчастные обретались в такой опасности, мачта, настигнутая могучим порывом ветра, сломалась, и корабль, расщепившийся на тысячу частей, выкинул большую часть своих пассажиров в страшное море на снедь рыбам и морским чудовищам. Иные, более, быть может, находчивые или более обласканные Фортуной, нашли себе спасение кто на одной доске, кто на другой. В числе их Никколо, обнявши какую-то доску, не выпускал ее из рук до тех пор, пока его не прибило к берберийскому берегу в нескольких милях от Сузы. Попав туда и будучи замечен несколькими рыбаками, пришедшими в это место на рыбную ловлю, он возбудил в них сочувствие к своей судьбе. Посему, тотчас же взяв его с собой, они отвели его в маленькую хижину, находившуюся поблизости, и, разведя большой костер, положили его у самого огня.

С великим трудом приведя его в чувство, они заставили его говорить, и, слыша, что он изъясняется по-латыни, они подумали, как это и было на самом деле, что он христианин. Уже не помышляя в то утро о лучшем улове, они с общего согласия отвели Никколо в Тунис и там продали его в рабство знатному дворянину той страны по имени Ладжи Амет. Увидав, что он молод и хорош собой, хозяин решил оставить его при себе для личных услуг, в каковых тот показал себя настолько прилежным и расторопным, что в короткое время полюбился и ему и всем домашним.

Но больше всего полюбился он жене хозяина, одной из самых умных, добрых и красивых женщин, когда-либо до того или в ту пору живших в этих краях; и так он ей понравился, что она ни днем, ни ночью не находила себе места и приходила в себя, только видя его или внимая его речам. И она так сумела обойти мужа, что он заподозрил бы ее в любом другом деле, только не в этом, и он подарил этого невольника ей в личное услужение. От этого госпожа получила превеликое утешение и молча сносила любовный пламень в течение многих дней. И она не прочь была

еще долго наслаждаться подобным образом, чтобы муж ничего не замечал, но благодаря постоянному общению пламень этот разросся настолько, что ей уже надобно было тушить его каким-нибудь способом. Много раз принимала она решение обнаружить перед Никколо этот огонь, но всякий раз, как она собиралась исполнить свое намерение, ее тотчас же удерживали и стыд быть влюбленной в раба, и мысль о том, что ему нельзя доверять, и те великие опасности, которым, как она видела, подвергается ее честь и ее жизнь. Поэтому очень часто, оставаясь в одиночестве, она, вся изнывая, так говорила сама с собой:

— Потуши, глупая, потуши в себе этот огонь, покуда он только начинает разгораться, ибо, если сейчас достаточно будет нескольких пригоршней воды, то потом, когда он тебя одолеет, не хватит и всех волн морских. О, слепая женщина, разве ты не сознаешь того позора, который ты на себя навлекла бы, если бы когда-либо через кого-либо стало известно, что ты подарила свою любовь чужеземцу, рабу, христианину, которому ты не успеешь и слова вымолвить о свободе, как уже дашь ему повод бежать и оставить тебя, несчастную, оплакивать свое безумие? Разве ты не знаешь, что там, где нет удержану мечте, не может удержаться и любовь? Как же ты можешь надеяться быть любимой человеком, у которого нет иной мысли, как вернуться на свободу? Так откажись же от этого безумного намерения, брось столь призрачную любовь, и если тебе все же хочется запятнать свое добре имя, пусть на то будут причины, по крайней мере такие, которые не принесут тебе сугубого стыда, но извинят тебя в глазах всех тех, кто как-нибудь проведал бы о твоем поведении.

Однако кому же я это говорю, несчастная, и к кому обращаю я такие мольбы? Как смею я следовать своему желанию, раз я принадлежу другому? Такие мысли, такие рассуждения, такие решения не тебе пристали, мужнина жена, но тем, кто вольны собой распоряжаться и не находятся в чужой власти, как я, навеки обреченная склонять свой слух на чужой зов, туда, куда позвоет меня другой!

Так расточай же, глупая, расточай слова, но на более здравое рассуждение; не теряй больше времени, не изводи себя больше, ибо то, чего ты не сделаешь сегодня, тебе придется сделать завтра с большим для себя ущербом. Так добейся же того, чтобы желание твоего возлюбленного совпало с твоим желанием, подумай, что он, хотя и чужеземец, не должен от этого быть менее ценим ни тобою, ни кем-либо другим, ибо, если нельзя дорожить иными вещами, чем теми, которые рождаются в наших краях, я не понимаю, почему золото и жемчуг и другие более драгоценные вещи имеют и за пределами тех стран, где они рождаются, ту цену, какую они действительно имеют. Фортуна сделала его рабом, но при этом она не лишила его изысканных манер и тонкости обхождения. Я же распознаю благородство его души, я же вижу блеск всех его добродетелей! Фортуна не властна изменить происхождение. Стать рабом — это может случиться со всяkim. Это не его вина, но вина Фортуны, и потому я должна презирать Фортуну, а не его. Когда бы я сделалась рабой, ведь тогда только по душе моей он мог бы узнать, что я осталась сама собой. Так, значит, все это не помешает мне его любить. Да и что может мне помешать? Не то ли, что он другой веры? Ах, глупая, как будто я многим более тверда в своей вере, чем в его? И хотя бы я тысячу раз обладала безусловной твердостью, ведь, полюбив его, я вовсе еще не отрекаюсь от своей веры и не делаю ничего враждебного нашим богам. Кто знает, если он полюбит меня, как я люблю его, мне, быть может, удастся уговорить его поверить в наш закон? Этим я зараз совершу дело, угодное и мне и нашим богам.

Так почему же я сама себе противоречу? Почему я противлюсь своей радости? Почему я не повинуюсь своим желаниям? Так, значит, я думаю, что могу устоять против законов Амура? О, как глупа была бы моя мысль, если бы я, жалкая бабенка, которая только и служит трутром его огнива, вообразила, что могу избегнуть того, чего не могли избежнуть тысячи мудрых людей! Так пусть же желание мое победит все прочие доводы, и пусть

слабые силы нежной молодой женщины не противятся силам столь могущественного повелителя.

После того как влюбленная препиралась и боролась сама с собой такими и им подобными рассуждениями, предоставив на конец победу той стороне, к которой Амур, по собственному ее желанию, принуждал ее склониться,— лишь только ей представился случай, она, увлекши Никколо в сторону и поведав ему свои мучения, попросила ответить ей на ее любовь.

Призадумался поначалу Никколо, услыхав такие речи, и разные мысли закружились у него в голове, и родилось подозрение, не поступает ли она так, чтобы его испытать, и уже склонялся он к тому, чтобы дать ей неблагоприятный ответ. Однако, мысленно перебирая разные доказательства любви, которые он, бывало, от нее получал, и видя, что она куда более скромна, чем бывают женщины в этих краях, и припомнив повесть о графе Анверском и королеве французской<sup>1</sup> и тысячу подобных случаев, он решил, что было бы правильным,— а там будь что будет,— сказать ей, что он готов исполнить все ее желания. Так он и сделал.

Вместе с тем, для того ли чтобы приохотить ее или потому, что ему все-таки хотелось немного испытать ее или посмотреть, как она будет себя вести,— он, прежде чем дойти до конца, отвлекал ее в течение нескольких дней. А когда она, хотевшая не слов, а совсем другого, стала на него, как говорится, наседать, Никколо, убедившись по множеству признаков, что хозяин положения он, и для того, как мне кажется, чтобы, как только представится для того случай, привести в исполнение один задуманный им план, решил попытаться обратить ее в христианство, прежде чем удовлетворить ее желание. И вот в красивых и подобающих выражениях он сказал ей, что готов исполнить любую ее просьбу, но умоляет ее обещать ему выполнить только одно весьма для нее

---

<sup>1</sup> Граф Анверский, презрев любовь французской принцессы, обвиняется ею в попытке ее изнасиловать. Оклеветанный, он отправляется в изгнание, и его невинность обнаруживается лишь через много лет. Эта история рассказывается в “Декамероне” Боккаччо (день второй, новелла VIII).

легкое обязательство, которое он на нее возложит. А так как ей казалось, что она целую вечность дожидается осуществления своего замысла, и, не задумываясь о том, чего он мог бы от нее хотеть, она, увлекаемая своим желанием, пообещала ему и поклялась на тысячу ладов сделать все, что он от нее потребует, он же в ответ на это самым привлекательным образом изложил свое намерение.

Тяжелым поначалу показалось ей поставленное им условие, и не будь в ней, о чем она сама не раз говорила, потребности подчиняться чужой воле, я нимало не сомневаюсь, что она наделала бы глупостей. Но Амур, который нет-нет, но тоже творит чудеса, так хорошо сумел убедить ее, что после тысячи колебаний, после тысячи безумных мыслей она была вынуждена сказать: «Делай со мной, что хочешь».

И вот — чтобы уж дольше не томить вас — она в тот же день приняла крещение, и в тот же день они обвенчались и вступили в брак в тот же день. И столь сладостными показались ей таинства этой новой веры, что она, как некогда Алибек<sup>1</sup>, ежечасно корила себя за то, что так долго медлила ее отведать, и настолько пришли ей по вкусу те глубокие познания, которые ей открылись, что она чувствовала себя хорошо лишь тогда, когда постигала новое вероучение.

Между тем, в то время как они — Никколо как наставник, а она как ученица, — никем не замеченные, пребывали в столь сладостной школе, Коппо, друг Никколо, услыхав о его несчастии и твердо решив его спасти, с большой суммой денег отправился в Берберийские края и как раз в те дни прибыл в Тунис.

Едва — с немальным трудом — высадился он на берег, как ему повстречался Никколо, случайно откуда-то возвращавшийся со своей госпожой. И после того как они, с великим трудом узнав друг друга, обнимались и целовались без числа, Никколо, услыхав о причине его приезда и поблагодарив его как подобало, наказал ему, чтобы он ни с кем не обмолвился словом о его

---

<sup>1</sup> В X новелле третьего дня «Декамерона» монах обучает язычницу Алибек, как «загонять дьявола в ад».

спасении, пока он сам опять не заговорит с ним об этом; обещая сообщить ему причину при более удобном случае и назначив ему место встречи на следующий день, он, ничего более не сказав, простился с ним.

Госпожа его тотчас же захотела узнать, кто это был и о чем они говорили, как и подобало женщине, все время ревновавшей и боявшейся, как бы даже птицы, летающие по воздуху, не похитили у нее любовника, но Никколо, который за словом в карман не лез, наговорив ей всякого вздора, удовлетворил ее вполне.

Конечно, Никколо, как вся кому ясно, питал страстное желание вернуться домой, но, будучи уверен, что стоит только воспламененной женщине что-либо заметить, она либо совсем его погубит, либо во всяком случае нарушит все его планы, он колебался, не зная, на что решиться. Это и было причиной, почему он не захотел, чтобы Коппо с кем-либо о нем говорил. К тому же я полагаю, что та великая любовь, которую долгая привычка поселила в его сердце (вы ведь прекрасно знаете: Любовь, любить велевшая любимым<sup>1</sup>) поставила бы на его пути столько опасностей и столько сомнений, что он согласился бы оставаться там, куда его забросила Фортуна. Однако он от всего этого не был до такой степени вне себя, чтобы не видеть, как его возлюбленная настолько очертя голову отдается своим желаниям, что Ладжи Амет не мог в конце концов этого не заметить.

Взвесив все эти доводы, он не раз собирался испытать ее, не захочет ли она поехать вместе с ним на его родину, и, видя, насколько она им ослеплена, питал твердую уверенность, что ему не так уж трудно будет ее уговорить; но так как он до сих пор не находил ни способа, ни средства, он пока что об этом молчал. Теперь же, когда приехал Коппо, он считал приезд его настолько своевременным, что все могло удастся, и решил, что хорошо было бы с ней поговорить об этом, прежде чем говорить о своем побеге с другими. Поэтому, повидавшись друг с другом и взвесив все

---

<sup>1</sup> Цитата из Данте («Божественная комедия», Ад, V, 103), слова тени Франчески да Римини.

доводы за и против, друзья в конце концов и порешили, что необходимо приступить к делу, когда красавица этого пожелает.

И вот, выбрав достаточно подходящее время и место, Никколо подступил к ней с такими речами:

— Госпожа моя сладчайшая, думать о средствах спасения, когда попадешь в беду, которой можно было избегнуть с самого начала,— не что иное, как, не зная ничего, кичиться своим задним умом. Если мы не хотим оказаться в числе таких людей, нам, как мне кажется, необходимо, пока мы еще не сломали себе шею, миновать те опасные пути, на которые нас увлекает наша любовь. Она же настолько решительно нами завладела,— как вы могли в том убедиться еще лучше, чем я,— что я опасаюсь, вернее убежден, что она может оказаться причиной нашей погибели, если мы не примем должных мер. И посему я много раз размышлял сам с собой, какое нам избрать средство, чтобы избежать столь великой опасности, и в числе многих, мелькавших перед моим воображением, оставалось два, представлявшихся мне менее трудными, чем все прочие: первое — измыслить, как бы мало-помалу положить конец нашей любовной привычке; но это, если только ваше пламя не уступает моему, будет для вас так мучительно, так трудно, что всякое другое трудное решение покажется вам менее тяжким, чем это. И потому мне, на мой взгляд, всегда казалось более привлекательным другое средство, которое, хотя оно поначалу и представится вам трудным и недоступным, я не сомневаюсь, что, когда вы хорошенько о нем подумаете, оно окажется таким, что вы решитесь прибегнуть к нему во что бы то ни стало, ибо вы увидите, что оно ведет к пользе и чести вашего любовника, вашего мужа и к постоянной возможности наслаждаться нашей любовью без подозрений и без всякой опасности.

А средство это — поехать со мной в нашу прекрасную Италию, о которой, сравнивая ее с этой страной, мне сейчас нет необходимости говорить, ибо вы много раз уже раньше слушали такие рассуждения и от меня и от других. В середине ее, под самым благодатным небом, расположена Флоренция, сладчайшая

моя отчизна, которая (да не в обиду сие будет сказано всем прочим), бесспорно, самый красивый город во всем мире. Не будем говорить о храмах, дворцах, частных домах, прямых улицах, красивых и просторных площадях и всем остальном, что выувидите за городскими стенами; местности, ее окружающие, сады, угодья, которыми она богаче всякого другого города, покажутся вам не чем иным, как раем; там — если бы только господь оказал нам милость благополучно туда попасть, — ему одному ведомо, сколь радостна будет ваша жизнь и сколь часто вы ежедневно будете корить себя за то, что не вы первая предложили мне уехать.

Но оставим вашу пользу и ваше удовольствие, каковые, я знаю, вы ни во что не ставите по сравнению с моей пользой и моим удовольствием: если бы даже все увлекало вас в другую сторону, разве не убедила бы вас мысль о том, из какого ужасного положения вы извлечете вашего любовника, вашего мужа, который так горячо вас любит, что — только бы не покидать вас — живет рабом в чужой стране, в то время как мог бы жить свободным на своей родине. Да, мог бы, говорю я, ибо теперь мне нетрудно было бы найти средство для спасения, если бы только любовь, которую я к вам пытаю, позволила мне поступить согласно моему желанию: ведь тот христианин, в которым я беседовал на днях, почти уже договорился с вашим мужем. Но упаси боже, чтобы я уехал без моей возлюбленной, без моей госпожи, без души моей, которая, я это знаю, так меня любит, так доверяет моим словам, что я будто уже вижу, как мысли ее склоняются в желательную для меня сторону.

Но увы! Какая помеха удерживает вас, мадонна, и не дает мне услышать тотчас же, как мне того бы хотелось, столь любезные мне слова? Может быть, вам кажется диким покинуть вашу родину? Разве вы не знаете, что для такой храброй женщины, как вы, всякое жилище — родина? И если я ваше благо, как вы сами мне уже тысячу раз о том говорили, разве там, где буду я, не будет для вас и отчизна, и муж, и родные, которых вы, сколько бы вы их

здесь ни оставили, столько же, мало того — по сотне на каждого оставленного, — найдете и там; общение с нашими женщинами, особенно же с моей сестрой, понравится вам настолько, что вам покажется, будто вы покинули диких зверей, чтобы поселиться среди людей. А эта сестра моя, не говоря о ее природной привлекательности, когда узнает что и сколько вы для меня сделали, так вас обласкает и примет вас с такой радостью, что вы тысячу раз в день будете меня благословлять за то, что я привез вас в страну, полную таких утех.

О том же, каковы там мужчины, нам с вами спорить не приходится, так как вы давно уже вынесли им приговор, ибо если я, будучи по сравнению с ними куда хуже того доблестного мужа, за которого вы меня здесь почитаете, так сильно вам понравился и нравлюсь, что вы любезно отдали мне в дар самое себя, то остальные должны будут понравиться вам настолько же больше, насколько они более достойны такого знатока, как вы.

Может быть, хотя все прочие доводы и склоняют вас к отъезду, вас удерживает страх перед тем, что будут говорить о вас в этих краях после вашего отъезда? Ах, госпожа моя, пусть и это не помешает вам облагодетельствовать зараз и себя и меня: не то, чтобы я отрицал, что честь должна быть предпочтаема всему остальному, или признавал бы верным мнение тех, кто утверждает, будто не следует обращать внимания, если о нас говорят плохо за нашей спиной, но я считаю, что ни вы, ни кто другой не должны заботиться о поклехах, возводимых на вас понапрасну в случае, если кто вздумает вас упрекать. Кто вправе корить вас за то, что вы отреклись от ложной веры и приняли истинную? Или за то, что вы бежите от тех, кто является самыми заклятыми врагами нас, христиан? Или за то, что вы находите приют на родине вашего мужа? Что вы спасли его от рабства? Никто из обладающих здравым рассудком! И поистине без числа будут те, кто вас за это похвалит и будет превозносить до небес.

О чем же вы думаете, сладчайшая моя душа? Может быть, вас удерживают трудности и опасности, которые вы видите в таком

решении? Если дело только в этом, мне хотелось бы строго пожурить вас, ибо, хотя я никакой опасности и не предвижу, все же, даже если она и есть, можно еще сомневаться в ней, в то время как оставаться здесь и продолжать делать то, к чему нас принуждают наши любовные страсти,— опасность явная. А кто бы не пошел на возможную опасность, чтобы избежнуть такой, которую он считает неминуемой? Что касается трудностей, я беру их на себя, и, если только господь не лишит меня вашего благоволения, дарующего мне радостную жизнь в рабстве, я даю вам слово, что при содействии того друга, с которым вы меня видели разговаривающим несколько дней тому назад, я нашел для нас способ уехать на его корабле в полной безопасности.

Так оцените же, сладчайшая моя госпожа, насколько я вам доверяю, если обнаружил перед вами столь важные замыслы. Примите во внимание, сколько блага принесет такое решение. Убедитесь, что ни боязнь за вашу честь, ни страх перед опасностями и перед трудностями не должны вас удерживать, и потому будьте готовы спасти меня от рабства, будьте готовы сопровождать меня в мой прекрасный город, нет, в ваш город, к вашим родным и к вашей сестре, которая уже давно вас ожидает и со слезами на глазах, сложив руки на груди, умоляет вас вернуть ей меня вместе с вами.

И сопровождая эти последние слова проявлениями любви, от которых растрогались бы камни, и слезами, насколько это казалось ему приличным для мужчины и для подобного случая, он замолчал.

Слова его настолько тронули сердце влюбленной молодой женщины, что, хотя такое решение казалось ей тяжким и неожиданным и ее воображению представлялись тысячи затруднений, тысячи опасностей и все те вероломства, которые, как говорят, вы, мужчины, совершаете по отношению к доверчивым влюбленным, она, принужденная великой любовью, от которой высокая гора казалась ей равниной, и будучи великодушной женщиной, не тратя лишних слов, ответила ему, что готова исполнить его желание.

И вот — я не хочу утомлять вашего внимания,— после того как они вместе с Коппо распорядились о том, как и когда начинать действовать, и запаслись всем необходимым, молодая женщина, собрав предварительно изрядный запас золота, серебра и иных драгоценностей, в одно прекрасное утро, прикинувшись, что идет на прогулку, отправилась вместе с Никколо к кораблю Коппо. Не успели они прийти, как и она и все те, которым предстоял переезд, делая вид, что хотят осмотреть корабль, и оставив всех остальных на берегу, взошли на корабль и, как только на него взошли, тотчас распустили паруса по ветру. Те же, кто пришел вместе с ними, не успели ничего заметить, прежде чем беглецы не удалились на полмили, но, догадавшись наконец о проделке, они вернулись домой, смущенные и недовольные, и довели до сведения Ладжи Амета все, что приключилось.

Вы сами можете себе представить, что поднялся великий шум и что было сделано все возможное, чтобы их догнать. Однако попутный ветер настолько им благоприятствовал, что они доплыли до Сицилии чуть ли не раньше, чем те собирались их преследовать.

Итак, прибыв в Сицилию и высадившись в Мессинском порту, они, ввиду того что женщина, не привыкшая к таким лишениям, нуждалась в некотором отдыхе, решили отвезти ее в город и позаботиться о ее поправке, поселив в лучшей из бывших там гостиниц. И так они и сделали.

Случилось, что в эти дни двор прибыл в Мессину. Поэтому посол тунисского царя, приехавший на предмет ведения весьма важных переговоров с королем Сицилии, остановился, на их беду, в той же гостинице, что и они. Ему, не раз мимоходом встречавшему молодую женщину, показалось, что он ее знает, и пока он колебался, она это или нет, к нему пришло письмо от его государя с известием о случившемся и с приказом, буде она случайно окажется в этих краях, приложить все усилия к тому, чтобы отослать ее обратно к мужу, прибегнув к содействию короля или кого следует. Посему, лишь только он прочитал письмо, он твер-

до решил, что это именно она, и, ничего более не выясняя, отправился к королю и доложил ему волю своего государя. На что король, немедля заполучив к себе женщину и обоих юношей, без большого труда признал в ней ту, которую искал посол, и, желая сделать приятное тунисскому царю, тотчас же, не внимая никаким доводам, отдал приказ отправить их обратно.

Каково было на душе у бедной молодой женщины и у злополучного Никколо, равно как и у Коппо, когда они услыхали столь печальную весть, какие были крики, какой плач, мольбы, — мне никогда не хватило бы духу пересказать вам и тысячной доли. Силой приведенные в гавань, принужденные взойти на тот же корабль, который король отдал под командование своего человека, они были отправлены обратно в Берберию как пленники тунисского царя.

И вот при хорошей погоде, куда более тихой, чем им того хотелось, они подплыли близко к Карфагенскому мысу и находились в нескольких милях от него, как вдруг Фортуна, уже насытившись столькими муками и столькими испытаниями бедного Никколо, решила повернуть колесо и подняла ужасный ветер и бурю и отбросила корабль назад с такой силой, что в невероятно короткое время отнесла его в наше Тирренское море, и здесь, неподалеку от Ливорно, без мачты, без снастей и весь разбитый он попал в руки пизанских корсаров, откупившихся от которых изрядной суммой денег, женщина и двое юношей перебрались в Пизу. Тут они остались на несколько дней, чтобы вылечить молодую женщину, потрясенную многими страданиями и великими невзгодами.

И когда им показалось, что она начинает приходить в себя, они направили свой путь во Флоренцию. А там... нет! Я не сумею не то чтобы пересказать, но даже вообразить себе всех пышных приемов, празднеств, ласк, которые выпали на ее долю! После того как молодая женщина провела много дней среди такого ликования и к ней вернулись прежние здоровье и веселье, Никколо, вторично окрестив ее в Сан-Джованни и отпраздновав

крестины всем городом, пожелал, чтобы ей было дано имя Беатриче. А затем, решив обручиться с ней торжественно и по христианскому обряду и предполагая справить еще большее и еще более веселое празднество, а также связать свою дружбу с Коппо еще более тесными узами, он отдал ему в жены свою сестру, которая, помимо того, что была очень красива, нисколько не уступала в добродетели своему брату. И после того как достойно и великолепно сыграли обе свадьбы, мадонна Беатриче, изо дня в день все больше и больше наслаждаясь и страной и общением с мужчинами и женщинами, убедилась, что Никколо ее не обманул. И она так полюбила свою невестку, а та ее, что нелегко было различить, чья дружба больше — между обеими женщинами или между обоими мужчинами, ибо все четверо, ни разу не обмолвившись дурным словом, жили в таком мире, и в таком согласии, и так весело, что вся Флоренция только о них и говорила. Они в каждым днем становились веселее, с каждым днем счастливее, с каждым днем все более и более помышляли о том, как бы угодить друг другу; и ни разу ни скука, ни раздражение вследствие чрезмерной близости или от долгой привычки не зародились в груди кого-либо из них,— напротив, умножая с каждым днем услуги, оказываемые друг другу, они в великом благополучии прожили долгие годы.

[Новелла I]

ФУЛЬВИО ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ГОРОДЕ ТИВОЛИ  
И ПРОНИКАЕТ В ДОМ СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ,  
ПЕРЕОДЕВШИСЬ ЖЕНЩИНОЙ; ОНА ЖЕ, ОБНАРУЖИВ  
В НЕМ МУЖЧИНУ, РАДУЕТСЯ ЭТОЙ УДАЧЕ.  
В ТО ВРЕМЯ КАК ОНИ ЖИВУТ СЕБЕ ПРИПЕВАЮЧИ,  
МУЖ ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ФУЛЬВИО МУЖСКОГО ПОЛА,  
НО, ПОВЕРИВ ЕГО СЛОВАМ И СЛОВАМ ЕГО ДРУГА,  
ОН УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ФУЛЬВИО СДЕЛАЛСЯ ТАКИМ  
В ЕГО ДОМЕ, И ОСТАВЛЯЕТ ЕГО У СЕБЯ  
НА ТОЙ ЖЕ СЛУЖБЕ ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СВЕТ  
ДЕТЕЙ МУЖСКОГО ПОЛА

Так вот, был в Тиволи, древнейшем городе латинян, некий дворянин по имени Чекк'Антонио Форнари, которому пришло в голову жениться тогда, когда другие обычно уже тысячу раз в этом раскаялись, и, как это бывает у стариков, он хотел жену только молодую и красивую. И в этом он преуспел потому, что некто по имени Джусто из рода Коронати, человек, впрочем, весьма состоятельный, но обремененный многими дочерьми, поскупившись на приданое, отдал ему одну из них, красивую и милую. Она, оказавшись замужем за стариком, который впал в детство, и лишенная тех удовольствий, ради которых она столько времени уже стре-

милась покинуть родной дом, отцовскую любовь и материнские ласки, сильно этим огорчилась; и так в конце концов надоели ей в муже и кашель, и слюнявость, и прочие знаки отличия старости, что она решила чем-нибудь себя вознаградить и задумала, как только представится случай, взять себе кого-нибудь, кто лучше бы обеспечил потребности ее молодости, чем об этом позаботился собственный ее отец.

Фортуна оказалась куда более благосклонной к этой ее мечте, чем даже сама она могла того желать. Действительно, некий римский юноша по имени Фульвио Макаро, отправившись однажды летом для своего развлечения в Тиволи вместе со своим другом по имени Менико Коша, несколько раз видел молодую женщину, и так как он нашел ее красивой, каковой она и была на самом деле, горячо в нее влюбился, и, поведав о своей любви Менико, он всецело поручил себя его заботам.

Менико, который был человеком, способным вытащить руки из любого теста, не тратя лишних слов, сказал другу, чтобы он не унывал, ибо, если он решится всячески и во всем ему повиноваться, он обещает устроить все так, чтобы Фульвио смог встречаться с молодой женщиной сколько ему заблагорассудится. Вы легко поверите, что Фульвио, у которого не было другого желания, не сказал ему «подожди до завтра», но тотчас же ответил, что готов на все, лишь бы тот как можно скорее облегчил его томление.

— Я слыхал, — продолжал тогда Менико, — что муж твоей дамы ищет девочку лет четырнадцати или пятнадцати, чтобы взять ее служанкой в дом и потом выдать замуж через некоторое время, как это до сих пор еще принято в Риме. Вот я и решил, что это будешь ты: ты поступишь к нему на все то время, каковое тебе будет угодно. И выслушай как. Наш сосед, что из Тальякоццо, который иногда оказывает нам кое-какие услуги, как ты знаешь, — мой большой друг. Беседуя со мной вчера утром, он мне сказал, уж не помню по какому поводу, что тот поручил ему найти такую служанку, для чего он и решил отправиться через несколько дней домой, чтобы раздобыть ее и привести. Он человек

бедный и охотно угождает состоятельным людям, так что я нисколько не сомневаюсь, что за малейшую мэду, какую бы ему ни дали, он готов будет сделать все, что мы захотим. Так вот, он сможет притвориться, что отправился в Тальякоццо, и, вернувшись дней через двадцать или через месяц, одев тебя, как одеваются тамошние крестьяночки, и выдав за какую-нибудь свою родственницу, он сумеет ввести тебя в дом к твоей даме, где тебе останется только пенять на самого себя, если у тебя не хватит духу привести в исполнение все остальное. И в этом деле нам поможет то, что у тебя белая кожа, и никакой надежды отрастить бороду на ближайшие десять лет, и женственное лицо, так что большинство, как ты знаешь, принимает тебя за женщину, одетую мужчиной. К тому же, так как твоя кормилица была из тех мест, я знаю, что ты прекрасно сумеешь говорить, как говорят тамошние крестьяне.

На все согласился бедный влюбленный, и ему казалось, что проходят тысячелетия в ожидании исхода дела,— мало того, ему уже представлялось, что он со своей дамой и помогает ей в ее домашних занятиях, и столь сильно было воображение, что он довольствовался ожидаемым не меньше, как если бы оно было действительностью. Так что без всяких отлагательств они, отыскав крестьянина, который быстро на все согласился, условились о том, что нужно было сделать, и не прошло месяца — я не хочу затягивать рассказа,— как Фульвио уже находился в доме своей дамы в качестве ее служаночки и служил с такой расторопностью, что в короткий срок не только Лавиния — так звали молодую женщину,— но и все в доме очень его полюбили.

И в то время как Лючия — так назвала себя новая служанка,— устроившись таким образом, ожидала случая услужить своей госпоже иначе, чем стеля ей постель, Чекк'Антонио пришлось как-то отправиться в Рим на несколько дней. Поэтому Лавинии, оставшейся одной, пришла охота взять особой на ночь Лючию, и когда в первый вечер обе легли в постель и одна из них, в восторге от неожиданной удачи, не могла дождаться, пока заснет другая,

чтобы во время сна получить награду за свои труды, другая, которая, быть может, мечтала о ком-нибудь, кто лучше, чем муж, сумел бы выбить пыль из ее шубы, с великой страстью принялась обнимать и целовать свою служанку. И вот, забавляясь так, как это обычно бывает, она попала к ней руками в то место, по которому мужчина отличается от женщины, и, обнаружив, что это не такая же женщина, как она, сильно изумилась и, пораженная, тотчас же отдернула руку не иначе, как если бы она неожиданно наткнулась на змею под кустиком травы.

И пока Лючия, не решаясь что-либо сказать или сделать, выжидала, чем все это кончится, Лавиния, сомневаясь, она ли это, уставилась на нее, словно оцепенев. Однако, видя, что это Лючия, не осмеливаясь что-либо ей сказать и подозревая, что ей, быть может, показалось то, чего на самом деле не было, она захотела снова дотронуться рукой до такого чуда, но, найдя то же, что она нашла и в первый раз, она стала сомневаться, спит она или бодрствует. Затем, думая, что, быть может, ее обманывает осязание, она, приподняв одеяло, захотела увидеть глазами все целиком. Тут она не только увидела глазами то, что осязала рукой, но открыла в облике мужчины нечто сотворенное из снега, окрашенное цветом свежих роз, так что ей пришлось примириться со столькими чудесами и поверить, что великое это превращение совершилось для того, чтобы она могла спокойно наслаждаться годами своей молодости. Поэтому, совсем осмелев, она, обращаясь к Лючии, сказала:

— Ах, что же это я вижу нынче вечером собственными глазами? Я же знаю, что ты только что была женщиной, а сейчас я вижу, что ты стала мужчиной. О, как могло это случиться? Я боюсь, что это мне привиделось или что ты какой-нибудь заколдованный злой дух, явившийся мне сегодня вечером вместо Лючии, чтобы ввести меня в злой искус. Я непременно, непременно должна разглядеть, в чем тут дело.

И, с этими словами проскользнув под него, она стала проделывать с ним те шутки, которые похотливые девицы очень часто

проделывают с преждевременно созревшими юнцами, и таким способом она выяснила, что это был не заколдованный дух и что это ей не привиделось; и она получила от этого то утешение, какое вы сами можете себе представить. Но вы все же не думайте, что сомнения ее прояснились с первого же раза или даже с третьего, ибо я могу поручиться вам, что, если бы она не боялась действительно обратить Лючию в духа, она бы не выяснила этого и на шестой раз. Однако, дойдя до шестого и обратившись от действий к разговорам, она любовными речами стала умолять ее сказать, как это случилось.

Лючия в ответ рассказала ей все, начав от первого дня своей любви вплоть до последнего часа. Та была этим обрадована превыше меры, увидав, что она любима таким юношей настолько, что он не испугался великих невзгод и опасностей ради ее любви. И переходя от этих бесед к тысячам других, столь же утешительных, и желая, быть может, еще дойти до седьмой степени очевидности, они встали так поздно, что солнце уже проникало через оконные щели. Поэтому им показалось, что уже пора, и, уговорившись, что днем, в обществе других людей, Лючия будет оставаться женщиной, а затем ночью, или когда им представится случай быть вдвоем наедине, она снова превратится в мужчину, они весело вышли из спальни. В этом святом согласии они провели много и много месяцев без того, чтобы кто-либо из домашних о чем-нибудь догадался.

И это длилось бы годы, если бы Чекк' Антонио, хотя он и был, как я говорил вам, весьма переспелым и осел его раз в месяц, и то весьма неохотно, подвозил зерно на женину мельницу, тем не менее, видя, как по дому ходит Лючия, которая показалась ему хорошенькой, не вздумал высыпать часть поклажи на ее жернов и не начал к ней приставать. А так как она боялась, как бы в один прекрасный день не вышло какой-нибудь неприятности, она стала именем божьим заклинать Лавинию снять у нее с плеч эту докуку.

После этого разговора — я не скажу вам, укусила ли Лавинию муха какая, или она решила запеть перед мужем Лазаря, —

но в первый же раз, как она с ним легла, могу сказать вам точно, она не величала его мессером.

— Смотри-ка, — говорила она, — что за храбрый пехотинец, который хочет отличиться, как всадник! Что бы ты наделал, черт возьми, если бы был молод и силен, когда даже сейчас, на краю могилы и с часу на час ожидая своего приговора, ты собираешься увенчать мою голову столь прелестным украшением? Забудь, старый безумец, забудь о грехе так же, как он о тебе забыл: разве ты не замечаешь, что, будь ты даже весь стальной, из тебя не вышло бы и кончика дамасской иглы? О, великая тебе будет честь, когда ты доведешь эту бедную девочку, которая добрея хлеба, до того, что я чуть не назвала своим именем: вот это будет приданое, вот это будет муж! О, какая радость для отца и для матери, какое удовольствие для родни, когда они услышат, что отдали овечку в руки волкам! Скажи-ка ты мне, дурной человек, что бы ты подумал, если бы с тобой так же поступили? Разве ты на днях не расшумелся так, что поднял на ноги весь край из-за того, что мне спели серенаду? Но знаешь ли ты, что я должна тебе сказать? Если ты не переменишься, ты заставишь меня помышлять о таких вещах, о которых я до сих пор никогда не помышляла. Я не я буду, если ты в один прекрасный день не окажешься осмеянным! Посмотришь, как я заставлю тебя найти то, чего ты добиваешься: ведь раз я вижу, что доброе поведение мне не помогает, я посмотрю, не поможет ли мне дурное. В конце концов, кто хочет хорошей жизни в этом предательском, проклятом мире, должен делать зло.

И сопровождая эти слова двумя слезинками, выдавленными с чертовскими усилиями, она так растрогала доброго старика, что он попросил у нее прощения и обещал никогда больше не обращаться к служанке ни с какими разговорами. Однако немного стоили его обещания, и если слезы и мольбы были притворными, притворным было и сострадание, ими вызванное. Действительно, когда немного дней спустя Лавиния отправилась на свадьбу,правлявшуюся в доме семьи Тобальдо, оставив Лючию дома,

так как ей слегка нездоровилось, дерзкий старикашка, найдя ее спящей не знаю уж в какой части дома, прежде чем она могла опомниться, запустил ей руку под подол и, задрав ей платье, чтобы ею насладиться, обнаружил такие вещи, которых не искал.

Пораженный этим, он простоял некоторое время как истукан, но затем, обуреваемый тысячами дурных мыслей, в самых что ни на есть резких выражениях стал допрашивать ее, что это все означает. Лючия, поначалу хотя и похолодевшая от страха, услыхав обильные угрозы и страшные слова, но уже давно вместе с Лавинией обдумавшая ответ на случай, если бы приключилось нечто подобное, и зная, что это человек простодушный, готовый поверить как в ложь, так и в истину, и не такой уж страшный на деле, как он это показывал на словах, ничуть не смущаясь, но, притворившись плачущей горючими слезами, стала умолять его выслушать ее объяснения. И после того как он ободрил ее несколькими более ласковыми словами, она с дрожью в голосе, потупив глаза, так начала говорить:

— Знайте же, мессер, что, когда я пришла в этот дом (да будет проклят тот день, когда я в него вступила, раз со мной здесь должно было приключиться такое постыдное дело), я не была такой, как сейчас, ибо эта вещь (о боже, горькая моя судьба!) выросла у меня три месяца тому назад. Однажды, когда я во время стирки почувствовала большую усталость, она стала появляться у меня — сначала маленькая-маленькая, затем она понемногу разрасталась все больше, пока не достигла тех размеров, которые вы видите, и если бы я не увидала на днях у вашего племянничка, того, что постарше, такую же, я так бы и думала, что это какая-нибудь зловредная опухоль, потому что она меня подчас так беспокоит, что мне чего-то ужасно хочется, сама не знаю чего; и настолько я этого стыдилась и все время стыжусь, что так и не решилась кому-либо об этом сказать. Так вот, не имея на душе ни вины, ни греха, я умоляю вас, ради бога и мадонны дель Уливо, пожалеть меня и не говорить об этом никому на свете, ибо я заверяю вас, что умру прежде, чем о бедной девушке станет известно такое постыдное дело, как это.

Добрый старикашка, который не знал, что теперь ему делать, видя, как у нее одна за другой капают слезы, и слыша, как она ловко оправдывается, начал было верить, что она не лжет. Тем не менее, так как ему казалось, что это все-таки дело не шуточное и так как ему все время приходило на ум, как, бывало, Лавиния ее ласкала, он подозревал, что здесь дело не обошлось без греха и что Лавиния, заметив «это», воспользовалась таким случаем ему во вред; поэтому он стал более настойчиво допрашивать ее, догадывалась ли об «этом» Лавиния или нет.

— Боже упаси! — смело отвечала служанка, так как ей казалось, что теперь уже дело приняло хороший оборот.— Мало того, я всегда этого остерегалась как величайшего несчастья, и, опять-таки повторяю вам, я скорее умру, чем кто-либо узнает что-нибудь об этом деле. И если господь избавит меня от такой беды, этого, кроме вас, не узнает ни один человек на свете. Дай бог, чтобы после такого несчастья, какое он пожелал наслать на меня, я снова могла стать, какой я была, ибо, говоря вам правду, я так настрадалась, что скоро, я уверена, от этого умру. Ведь помимо стыда, который я буду испытывать всякий раз, как вас увижу, думая, что вы все знаете, мне будет казаться, что нет ничего более неудобного на свете, чем чувствовать, как между ног болтается то, что я чуть-чуть не назвала.

— Ну, девочка моя,— продолжал растроганный старикашка,— побудь пока в таком положении и никому ни слова не говори, так как, может быть, удастся найти какое-нибудь лекарство, которое тебя исцелит. Предоставь об этом подумать мне, но, главное, ничего не говори мадонне.

Итак, не сказав больше ничего, с ужасным смятением в голове, он оставил Лючию и отправился к местному врачу, которого звали магистр Консоло, и еще к кому, чтобы посоветоваться с ними об этом случае.

Между тем, по окончании свадьбы, Лавиния вернулась домой, и когда она узнала от Люции, как было дело,— я предоставлю вам самим судить, была ли она этим недовольна или нет. Что

касается меня, я думаю, что это было для нее вестью более печальной, чем когда ей сказали, что у нее будет такой старый муж.

Чекк'Антонио, который, как я говорил вам, ходил справляться по этому делу, услыхав от одного одно, от другого другое, вернулся домой смущенный более, чем когда-либо. Поэтому, никому ничего не говоря в тот вечер, он решил на следующее утро поехать в Рим и отыскать какого-нибудь знающего человека, который бы ему лучше растолковал все это. Итак, на следующий день спозаранку, сев на лошадь, он выехал по направлению к Риму. Остановившись в доме одного своего друга, он, немного перекусив, отправился в университет, думая, что найдет там скорее, чем в другом месте, кого-нибудь, кто сумел бы вытащить у него такую блоху из уха. И, по счастью, он наткнулся на того человека, который ввел Лючию в его дом и который от нечего делать имел привычку иногда приезжать в университет; видя, что незнакомец хорошо одет и пользуется общим уважением, старик подумал, что это какой-нибудь великий ученый. Поэтому, отведя его в сторону, он стал под секретом расспрашивать его о своем деле.

Менико, который прекрасно знал старишку и тотчас же догадался, в чем дело, рассмеявшись про себя, сказал: «Ты попал в хорошие руки», — и после долгого рассуждения весьма внушиительно дал ему понять, что это не только возможно, но и случалось не раз. А для того, чтобы тот легче поверил, он свел его в лавку книжного торговца по имени Якопо ди Джунта и, попросив Плиния по-итальянски, показал ему то, что он говорит об этом случае в четвертой главе седьмой книги<sup>1</sup>, а также он отыскал для него, что об этом пишет Баттиста Фрегозо в главе о чудесах<sup>2</sup>.

Этим он настолько успокоил душу взволнованного старика что тот, даже если бы перевернулся весь свет, не дал бы убедить себя в обратном. Тогда Менико, удостоверившись что тот запу-

<sup>1</sup> Имеется в виду «Естественная история» Плиния Старшего, который в указанном месте действительно говорит о гермафродитах.

<sup>2</sup> По-видимому, Фиренцуола намекает на «Достопамятные деяния и речения в девяти книгах» Баттиста Фрегозо (1453—1504).

тался настолько, что уж не так скоро сумеет выпутаться, переходя от одного рассуждения к другому, начал убеждать его, чтобы он не выгонял служанку из дома, потому что люди, устроенные таким образом, приносят счастье тому дому, где они живут, и потому, что они способствуют рождению младенцев мужского пола и тысяче других милых сюрпризов. А затем он стал настоятельно просить его, чтобы, ежели бы ему все же вздумалось от нее отделаться, он непременно направил бы ее к нему и что он более чем охотно возьмет ее к себе. И так хорошо сумел он изложить свои доводы, что добрый стариk уже не отдал бы Лючию и за тысячу флоринов.

Отблагодарив доблестного мужа и предложив ему все свое состояние, стариk с ним расстался и не мог дождаться, пока доедет до Тиволи, чтобы посмотреть, не удастся ли ему сделать своей жене младенца мужского пола. И после того как он в тот вечер приложил к тому все свои старания и Лючия помогала ему по мере сил, предсказание сбылось, ибо Лавиния забеременела мальчиком, который затем и послужил причиной тому, что Лючия оставалась у них в услужении, сколько ей хотелось, а после того, как ушла, входила и выходила, когда ей вздумается, без того, чтобы добрый стариk когда-нибудь заподозрил что-либо или пожелал что-либо заметить.

[Новелла II]

КАРЛО ЛЮБИТ ЛАЛЬДОМИНУ,  
А ОНА, ДАБЫ УГОДИТЬ СВОЕЙ ХОЗЯЙКЕ,  
ПРИТВОРЯЕТСЯ, БУДТО ЛЮБИТ АББАТА,  
И, ДУМАЯ, ЧТО ВПУСТИЛА ЕГО В ДОМ,  
ОНА ВПУСКАЕТ КАРЛО;  
ОН ЖЕ, ДУМАЯ, ЧТО ДЕЛИТ ЛОЖЕ С ЛАЛЬДОМИНОЙ,  
ДЕЛИТ ЕГО С ХОЗЯЙКОЙ,  
КОТОРАЯ, ДУМАЯ, ЧТО ПРОВОДИТ НОЧЬ С АББАТОМ,  
ПРОВОДИТ ЕЕ С КАРЛО

Опасности, коим ежедневно подвергаются мужчины и женщины ради того желания, которое многие неразумно именуют любовью, и удача Лавинии, смогшей тайно насладиться ею, напоминают мне сейчас об одной нашей флорентийке, которая, больше считаясь со своим добрым именем, чем с истинной честностью, весьма смело отдала себя в добычу этой страсти и настолько в этом преуспела, что тот самый, кто лишил ее чести своими поступками, не смог бы, даже если бы захотел, сделать этого своими речами.

Был во Флоренции во времена наших отцов богатейший купец по имени Джироламо Камбини, имевший жену, которая без всяких оговорок почтилась в свое время самой красивой жен-

щиной в нашем городе. Но превыше всего прочего, что о ней говорилось, была ее честность; в самом деле, ничем, видимо, так не дорожа, как именно ею, она ни в церкви, ни на площади, ни на пороге, ни у окна не показывала виду, что замечает мужчин — не то чтобы нарочно смотреть на них, — почему и случилось, что многие влюблявшиеся в нее из-за ее удивительной красоты, увидав наконец насколько она сурова и не добившись от нее ни единого взгляда, в короткое время отступались от своего намерения. Я думаю, что вопли этих людей, достигая нередко до неба, заставили Амура за них отомстить. Действительно, так как в то самое время во Флоренции был юноша знатного происхождения, именуемый мессер Пьетро деи Барди (будучи священником, он в числе прочих доходов владел прелестным аббатством и потому его звали аббатом), который единогласно почитался самым красивым юношей во Флоренции (да я и сама припоминаю, что видела его, когда была маленькой девочкой, старым, но все еще очень красивым), — красавица при виде его красоты не могла не изгнать из своего нежного сердца жестокость и страстно в него влюбилась.

Тем не менее, дабы не изменить своим привычкам, она, не показывая виду, наслаждалась в душе его красотой или, тайно беседуя о нем со служанкой, вместе с ней рожденной и воспитанной в доме ее отца, которую она держала при себе для личного услужения, она насколько могла сносила любовный пламень. После того как она провела много и много дней в таких мучениях, ей в конце концов пришло в голову насладиться своей любовью так, чтобы сам аббат, не говоря уже о других, ничего не заметил. С этой целью она приказала Лальдомине — таково было имя служанки — привлекать внимание аббата любовными взглядами и знаками всякий раз, как он будет проходить мимо, думая, что легко может случиться, что он в нее влюбится, так как, помимо того, что она была очень хорошенькой и очень привлекательной, на ней было платьице особого, не совсем господского, но и не такого, что бывает у служанок, покроя, сообщавшее ей удивительное изящество.

И вот, когда в одно прекрасное утро обе женщины находились в Санта-Кроче<sup>1</sup> по слухаю не помню уж какого праздника и там же был и аббат, ловкая служанка приступила к точному выполнению приказаний своей госпожи. Но все оказалось напрасным, ибо аббат, может быть, по молодости лет, а следовательно, за неимением привычки к такого рода забавам, то ли не замечал их, то ли делал вид, что не замечает. Случайно в обществе аббата оказался другой юноша, тоже флорентиец, по имени Карло Сассетти, который уже много дней как приметил Лальдомину; он тотчас же обратил внимание на то, какие она делала глазки. Поэтому он тут же задумал маленькую хитрость и, дождавшись удобного случая, привел ее в исполнение.

Действительно, так как в эти дни мужу Аньолетты — так звали молодую женщину — пришлось сесть на коня и отлучиться из Флоренции на долгое время, Карло, который только этого и ждал, почти что каждый вечер между тремя и четырьмя проходил по улице, где жили эти дамы. И вот однажды он приметил Лальдомину в очень низком окне, которое было над площадкой лестницы и выходило в переулок около дома. Она по слухаю сильной жары шла со светильником в руке зачерпнуть немного воды для своей госпожи.

Как только Карло ее увидел, он, прильнув к окну, стал очень тихим голосом звать ее по имени. Она весьма этому удивилась, но вместо того, чтобы запереть окно и отправиться по своему делу, как подобало женщине, не желавшей ни заигрывать, ни быть предметом заигрывания, она, спрятив светильник и приблизившись к окну, сказала:

— Кто там?

На что Карло быстро ответил, что это тот друг, которого она знает и который хочет сказать ей два слова.

— Друг или недруг, — продолжала она, — вы бы лучше шли по своим делам! Стыдно вам! Клянусь животворящим крес-

---

<sup>1</sup> Монастырь и собор во Флоренции.

том, если бы наши мужчины были дома, вы так бы не поступали. Сразу видно, что остались тут одни женщины. Убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову, неуч вы этакий! Я буду не я, если не запущу этой кружкой вам в голову.

Карло, который не в первый раз попадал в такую переделку и знал, что мы, женщины, лишь тогда отказываем по-настоящему, когда не желаем выслушать ни малейшего слова того, кто с нами заигрывает, нисколько не срబел перед столь резким ответом, но самыми какими ни на есть сладкими словечками снова стал умолять ее, чтобы она ему открыла, и наконец сказал ей, что он аббат. Как только добрая служанка услыхала имя аббата, она сразу смягчилась и, отвечая ему словами куда менее резкими, чем раньше, сказала:

— Аббат или не аббат,— у меня нет никаких дел с аббатами и монахами! Полно, полно, будь вы аббат, вы бы не очутились здесь в этот час. Я ведь прекрасно знаю, что хорошие священники, такие, как он, не выходят по ночам, чтобы приставать к чужим женам, и особенно к порядочным людям в их собственном доме.

— Лальдомина моя,— отвечал на это Карло,— великая любовь, которую я к тебе питаю, принуждает меня делать такие вещи, которых я, быть может, и не должен был бы делать. Однако, если я прихожу тревожить тебя в этот час, не удивляйся, ибо я горю таким желанием открыть тебе свою душу, что готов на все, только бы сказать тебе два слова. Так согласись же, надежда моя, приоткрыть мне дверь и не обижай меня в такой малости.

Лальдомина, услыхав столь жалкие речи, сильно растрогалась и, будучи твердо уверена, что это аббат, готова была тотчас же ему отпереть, но, полагая, что все же хорошо было бы при помощи какого-нибудь условного знака выяснить, действительно ли это он, она решила переждать до другого вечера и так отвечала ему, посмеиваясь:

— Эх, проваливайте, проваливайте, шутник вы этакий! Вы думаете, что я не знаю, что вы не аббат. Ведь если бы я знала, что это он, я бы вам открыла; не ради чего плохого — не по-

думайте,— а только чтобы узнать, чего вы от меня хотите, а затем чтобы передать Джироламо, как вы отличаетесь, когда его нет. А вдруг вы не аббат? О я бедняжка! Я почитала бы себя после этого самой несчастной женщиной во всем Борго Аллегри! Но пройдите здесь завтра в девять часов, и я вас подожду у входа. А когда вы поравняетесь с нашей дверью, в знак того, что это вы, вы сморкайтесь в этот платок (и с этими словами она дала ему платок, весь вышитый черным шелком). Сделайте это, и я обещаю вам, что, если вы придетете сюда завтра вечером, я вам отопру, и вы сможете сказать мне все, что захотите. Только смотрите, чтобы все было прилично.

Сказав это и даже не пожелав проститься с ним, она захлопнула окно перед его носом и, тотчас же отправившись к своей госпоже, рассказала ей все как было. Та, воздев руки к небу и будучи уверена, что настало время исполнения ее желания, стала благодарить ее, крепко целуя и обнимая по крайней мере раз тысячу.

Между тем Карло, отправившись домой и улегшись в постель, так и не смог сомкнуть глаз в эту ночь, думая, как ему сделать, чтобы аббат выполнил условие, поставленное служанкой. И встав с этой мыслью, он в час мессы отправился в Нунциату<sup>1</sup> и, встретив там одного своего друга, по имени Джироламо Фиренцуола<sup>2</sup>, который проводил целый день с аббатом, рассказал ему то, что с ним случилось прошлой ночью, и попросил его помочи и совета насчет условного знака. На это Фиренцуола тотчас же ответил ему, чтобы он не унывал, и, если все дело только в этом, ни в чем не сомневался, так как в нужное время он сам обо всем позабочится. С этими словами, попросив у него платок, он с ним распростился. И, когда время ему показалось подходящим, он, отправившись к аббату, вытащил его из дома под предлогом прогулки и, шаг за шагом, переходя от одной беседы к другой, довел его до дома Аньолетты, так что тот этого и не заметил. А когда они

<sup>1</sup> Монастырь и церковь Аннунциаты (Благовещения) во Флоренции.

<sup>2</sup> Автор называет кого-то из своих предков, а может быть, и самого себя (его полное имя было: Микельяньюло Джироламо).

поравнялись с дверью, Фиренцуола сказал аббату, предварительно вручив ему тот самый платок:

— Мессер аббат, прочистите себе нос, он у вас загрязнился.

На что тот, ничего не подозревая, взял платок и прочистил себе нос, так что Лальдомина и Аньолетта твердо поверили, что он высыпался только для того, чтобы выполнить уговор, и чрезвычайно этому обрадовались. Засим оба юноши, ничего больше не говоря, направились к площади Сан Джованни, откуда Фиренцуола, откланявшись аббату, пошел за Карло, который ждал его, сидя на ограде Сиротского дома, и, рассказав ему, как все произошло, он, ничего больше не говоря, с ним расстылся, оставив его в великой радости.

Когда наступил вечер, Карло часа в три направил свои стопы к жилищу обеих женщин и, расположившись под вчерашним окном, стал дожидаться прихода Лальдомины. И недолго он тамостоял, как она, понукаемая той, которая желала этого еще больше, чем он, подошла к окну и, увидав его и признав в нем того, кто приходил на кануне вечером, сделала ему знак идти к двери. Подойдя к ней и обнаружив, что она отперта, он тихо вошел в дом, но, когда, едва войдя, он принял было обнимать и целовать Лальдомину, она, как верная служанка своей госпожи, ни за что этого не пожелала и велела ему подождать, не делая никакого шума, пока госпожа ее не отправится спать; и тут же, притворясь, что ее позвали, и оставив его внизу, она поднялась к Аньолетте, которая с величайшим нетерпением ожидала исхода этого дела; а была ли она довольна, узнав, что аббат в доме, об этом вы узнаете из хода моей новеллы и без того, чтобы я вам об этом говорила.

Заблаговременно распорядившись приготовить в одной из комнат, смежных с залой, роскошнейшую постель с тончайшим бельем, она приказала служанке пойти за аббатом и там его уложить. На что Лальдомина, вернувшись к Карло в полной темени и потихоньку, так, чтобы он ничего не заметил, отвела его в комнату, заставила раздеться и положила на кровать. Засим, притворившись, что она пошла посмотреть, не проснулась ли ее госпожа, она вышла вон. Не прошло много времени, как мадонна Аньолетта,

вся вымытая, вся надушенная, тихонько пришла к нему вместо Лальдомины и легла рядом с ним. И хотя потемки и пытались скрыть ее красоту, тем не менее она была столь велика, что, так же как и дивную белизну ее кожи, ее можно было скрыть лишь с великим трудом.

И вот оба любовника, один, думая, что лежит с Лальдоминой, а другая — с аббатом, без многих слов, дабы друг другу себя не обнаружить, обмениваясь сочными поцелуями, тесными объятиями и всеми теми действиями, кои подобали такой паре, делились столькими ласками, сколько вы только можете себе представить. И если все же подчас у них срывалось с уст какое-нибудь любовное слово, они произносили его так тихо, что часто не могли расслышать друг друга, и каждый из них этому дивился, и обоим это было дорого. Но что больше всего меня смешит, когда я об этом подумаю, так это то душевное удовлетворение, которое испытывали оба от того, что срывают плоды своих желаний при помо~~щи~~ столь замечательного обмана; ведь в то время как она наслаждалась тем, что обманывает его, а он, что обманывает ее, они обманывали друг друга так сладко, что каждый из них радовался обману; не узнавая друг друга, они вкушали в эту ночь столько утех, столько радостей и столько веселия, что были бы не прочь, если бы она продлилась целый год.

А когда затем наступил предрассветный час, мадонна Аньолетта, встав и притворившись, что уходит не знаю по каким своим делам, выслала на свое место Лальдомину, которая, как только могла скорее заставив одеться Карло, тайно вывела его через дверцу, выходившую с задней стороны дома. А для того, чтобы это был хотя и первый, но не последний раз, они сговорились доставлять себе такие же утехи всякий раз, как это позволит Джироламо; и так ничего и не узнав друг о друге, они еще много раз встречались, чтобы проводить столь же счастливые ночи.

Так вот посудите же, прекрасные дамы, сколь велика была предпримчивость этой женщины, если она под чужим именем, не подвергая свою честь никакой опасности, находила себе развлечение кое в чем ином, чем в разговорах.

[Новелла III]

ДОН ДЖОВАННИ ЛЮБИТ ТОНИЮ,  
И ОНА ЗА ОБЕЩАННУЮ ПАРУ РУКАВЧИКОВ  
ЕМУ УГОЖДАЕТ; НО ТАК КАК ОН ИХ НЕ ОТДАЕТ,  
ОНА, СГОВОРИВШИСЬ С МУЖЕМ,  
ЗАМАНИВАЕТ ЕГО В ДОМ,  
И ТАМ ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ ЕГО  
НАКАЗАТЬ СЕБЯ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

Так вот, вам надлежит знать, что не так давно в пистойских горах был священник по имени дон Джованни дель Чивело, капеллан церкви Санта-Мария а Кварантола, который, не изменяя обычаям священников этого края, безмерно влюбился в свою прихожанку по имени Тония, жену одного из первых людей на селе, которого звали Джованни, хотя все и величали его прозвищем Чарпалья<sup>1</sup>. Тонии этой было около двадцати двух лет, и была она смугленькая, ибо очень любила солнце, плотная, округлая, так что казалась мраморной полуколонной, пробывшей несколько лет под землей. Помимо прочих достоинств, коими она отличалась — умением хорошо вскопать грядку и чисто прополоть засеянную борозду, — она была лучшей плясуньей во всей

---

<sup>1</sup> Болтун, брехун (итал.).

округе, и, когда, не ровен час, попадала в хоровод на киринтану<sup>1</sup>, у нее было такое дыхание, что она утомила бы и сотню мужчин, и счастлив был тот, кто мог проплясать с ней хотя бы один выход; так что, смею вас уверить, ей делали не одно предложение.

Заметив томление мессера, добрая женщина, ничуть не брезгая, нет-нет да и приласкает его, так что его преподобие прыгал от радости, точно двухгодовалый жеребенок. И с каждым днем все больше смелая, правда, не говоря ни о чем, что было ниже пояса, он умудрялся проводить с ней немало времени, рассказывая самые что ни на есть потешные истории, какие вы только когда-либо слыхали. Но она, будучи хитрее самого черта, чтобы узнать, может ли быть от него какой-нибудь толк и насколько он стоек перед искушениями кошелька, всякий раз, узнав, что он отправляется в город, выпрашивала у него какую-нибудь вещицу, скажем, левантийских румян на два кватрина, немного белил или просила, чтобы он заказал ей новую пряжку на кожаный поясок или другие обновки того же рода, на которые преподобный отец так охотно тратил свои деньги, словно на починку ризы.

Однако то ли ему нравилось красоваться на площади в рясе из небесно-голубого сукна с рукавами, прорезанными на локтях, то ли ему казалось, что он достаточно обласкан любовью, то ли он боялся мужа или того, что из этого может выйти, но он дождался, пока Тония ему не скажет: «Дон Джованни, приходите побаловаться со мной».

Так тянулось месяца два, и он питался одним ветром, как лошадь Чолле<sup>2</sup>, а она получала от него эти маленькие услуги, и дальше этого они не шли. Наконец то ли Тония стала уж слишком запрашивать — не постыдилась же она попросить у него сразу пару желтых башмачков из тех, что скроены с вырезом на боку и завязываются шнурочком, и пару сандалий с прихотливым узором на белых ремешках, — то ли жажда перемены разгоралась у него с каждым днем все сильнее, или же была тому другая

<sup>1</sup> Старинный итальянский танец.

<sup>2</sup> Итальянская поговорка.

причина, но он решил, что хорошо было бы при первом случае попросить ее отдать ему свою честь, а там будь что будет.

И выследив однажды, что она одна, он принес ей салат из овощей своего огорода, а у него там был чудеснейший стриженый латук и самые лучшие волчцы, какие вам только когда-либо приходилось увидеть, и, угостив ее, присел рядом с ней и, пристально-пристально поглядев на нее некоторое время, стал ни с того ни с сего говорить ей такие слова:

— Ишь ты, как хороша нынче эта Тония! Клянусь евангелием, я не знаю, что ты с собой сделала. О, насколько же ты мне кажешься красивее того святого Антония, которого намедни приказал написать в нашей церкви Фруозино ди Мео Пулита во спасение души своей, своей супруги монны Пиппы и своей сестры. Где же еще такая гражданка в Пистойе, которая была бы столь же мила и пригожа, как ты! Гляди-ка, разве эти губки не похожи на оборку моей ризы в праздничные дни? О, что за блаженство, если бы можно было их прикусить так, чтобы знак остался на них до виноградного сбора! Ей-ей! Клянусь тебе семью благодатями мессы, что не будь я священником (а тебе предстояло бы выйти замуж), я бы добился, чтобы ты была в моей власти. Ох, и разгорелся бы я тогда! Черт возьми, как бы мне отделаться от этого зуда, который ты на меня наслала?

Пока мессер произносил эти слова, Тония, сердито косясь на него и посмеиваясь исподтишка, то глядела на него, то, казалось, готова была ему пригрозить, а когда он кончил разглагольствовать, она ответила ему, покачав головой:

— Эх, сере, сере, бросьте, нечего издеваться! Эдак лучше будет. Если я не угоджаю вам, достаточно, что я угоджаю моему Чарпалье.

Святой отец, который уже начал закипать, сутился от любовной истомы, как трясогузка, и, выпячивая подбородок, словно ему вот-вот придет конец, услыхав такой ответ, собрался с духом и продолжал:

— Никогда еще ты мне столько не угоддала, краса моя, как

угождаешь сейчас. Разве ты не видишь, что ты заставляешь меня каждый день рыскать туда и сюда, чтобы тебя увидеть. О, сколько я бы дал, чтобы хоть один разочек дотронуться до тех двух голубков, что у тебя на груди, которые заставляют меня сгорать скорее, чем грошовая свеча перед алтарем.

— Что же вы, черт возьми, дадите,— сказала на это Тония,— вы, который скучеет петуха? Клянусь честью, поп и скряга — одно и то же. Никак он собрался раскошелиться! Будто я не помню, какую вы намедни, когда я у вас попросила сандалии, скорчили рожу,— словно мачеха, будто я попросила невесть что. Я ведь прекрасно знаю, что, когда ваш сосед Менкалья захотел получить самый пустяк от жены Теттеннино, ему пришлось заплатить за половину юбки, которую она себе заказала на всех святых. И знайте, что она была из лучшего романьоло<sup>1</sup>, какое только есть в этой округе, и одна материя стоила ей больше двенадцати лир, без подкладки, без обшивки, оборки и шитья, которые обошлись ей в целое состояние.

— Клянусь, моя Тония, телом святой, а какой не знаю,— сказал на это дон Джованни,— ты тысячу раз не права, ибо я более щедр к женщинам, чем кто бы то ни было. Я никогда не езжу в город без того, чтобы не истратить по меньшей мере два болоньина<sup>2</sup> с теми хорошенъими христианками, которые стоят за дворцом приоров. Так что подумай только, что бы я сделал для тебя, у которой такое очаровательное лицо и которая так растрошила мне печеньки и все внутренности, что у меня язык не поворачивается читать службу! Да, по правде говоря, я боюсь, не околдовала ли ты меня.

Кумушка наша, услыхав столь щедрые обещания, решила, что попытка не пытка, и сказала ему, что готова его ублаготворить, если он обещает заплатить за пару рукавчиков желтой саржи с обшивкой зеленого бархата на манжетах и несколько головных

---

<sup>1</sup> Сукно, изготавливавшееся в горных местностях Романьи.

<sup>2</sup> Болоньин — болонская монета ценностью в шесть кватринов.

ленточек, тоже зеленых, таких, чтобы развевались, и сетку из серой нитки с мешочком для волос и дать ей взаймы три болоньина, которых у нее не хватает, чтобы выкупить холстину у ткачихи. А если он этого не захочет сделать, пусть отправляется в Пистойю к тем хорошенъким христианкам, которые давали ему за два болоньина. Бедный священник, который уже приготовил пест, чтобы приладить его к ее ступке, обещал ей, дабы не терять такого случая, не то что рукавчики, но и весь лиф вместе с ночной рубашкой, и уже хотел запустить ей руку в волоса, но она, малость поартачившись, сказала:

— Эй, любезный дон Джованни, погодите-ка вы там, нет ли у вас чего доброго при себе тех несчастных кватринов, которые я у вас просила, потому что я имею в них превеликую нужду. Ведь мой-то, по правде говоря, не способен найти и лоскутка.

Добрый отец, который не прочь был дать взаймы так, как это делал священник из Варлунго<sup>1</sup>, стал отговариваться, что у него нет при себе денег, но что, как только кончится вечерня, он дойдет до церкви и посмотрит, не хватит ли того, что найдется в свечном ящике, и ей принесет.

Поняв, что он ей заговаривает зубы, Тония сделала вид, что хочет рассердиться, и сказала ему, ворча:

— Разве я вам не говорила, что вы щедры, как просторы пистойской равнины? Идите прочь! Клянусь крестом господним, что вы меня не коснетесь, прежде чем не дадите мне эти гроши. По совести, ваш брат всякого научит, как не нужно никогда начинать службу, если вам не заплатили вперед. Хватит с вас того, что я соглашаюсь дожидаться остального, пока вы съездите в город, но эти деньги мне так нужны, что уж и не знаю, как сказать вам.

— Да ну же, ну, не сердись, Тонниотта,— сказал дон Джованни, услыхав, как она расшумелась,— дай-ка я погляжу, может быть, они, чего доброго, при мне.

---

<sup>1</sup> Этот священник, оставив любовнице свой плащ, взял у нее на время ступку, а затем отоспал ступку назад с просьбой вернуть плащ (Боккаччо, «Декамерон», день восьмой, новелла II).

И с этими словами он вытащил свой кошелек, который он держал в паре сетчатых чулок, и так стал давить его, так выкручивать, что извлек из него шесть сольди, выжимая их один за другим, и отдал ей. А когда он их отдал, она согласилась дать ему отзвонить на своих колоколах в шалаше, который находился поблизости; и в этом месте они встречались еще много раз до того, как ему отправиться в Пистойю. А когда ему пришлось туда ехать, он, по возвращении своем, потому ли, что забыл, или потому, что расход показался ему в тягость, не привез ей ничего, кроме сетки, с которой он отправился к ней, и извинился, что по забывчивости оставил рукавчики дома, пообещав принести их на следующий день; он так заговорил ее, что она этому поверила и, взявши сетку, согласилась опять пойти с ним в шалаш. Но злосчастный мессер — прошел день, прошел другой — так и не нес ни рукавов, ни рукавчиков. Тония начала злиться и однажды вечером порядком его обругала. Но он, уже отпустивший подпругу у осла и думавший, что раз ей нужны рукавчики, пускай их себе добывает сама, ответил ей словами настолько резкими, что она жестоко на него разобиделась и решила ему отомстить. И, прикусив язык, сказала про себя:

— Иди себе, окаянный поп! Если я не заставлю тебя раскаяться, пусть сдохну от лихоманки. Ну и дура же я была, что спуталась с этим гнусным отродьем, будто я тысячу раз не слыхала, что все они одним миром мазаны! Ну, на этот раз да простится мне.

И дабы хорошенько показать, что она сердится, она три или четыре дня ни за что не желала видеть его. Затем, чтобы легче было отомстить так, как она это замыслила, она снова начала привлекать его тысячами ласковых словечек и, больше не говоря о рукавчиках, сделала вид, что с ним помирилась.

И в один прекрасный день, когда ей показалось, что настало время, удобное для ее замысла, она ласково подозвала его к себе и, говоря, что ее Чарпалья отправился в Кутильяно, пригласила его, коли ему хочется сделать с ней четыре хороших заезда, прйти к ней в дом часов в десять, добавив, что она одна-одинешенька

будет его ждать; если ж он, не ровен час, ее не застанет, пусть он потрудится подождать ее, так как она не замедлит прийти. Уж не спрашивайте меня, как отец Блудодей ухватился за это предложение и как он весь вспотушился, говоря сам себе:

— Недаром я удивлялся, почему она так медлит погибнуть от любви ко мне. Гляди-ка, гляди, ее теперь уж больше не беспокоят рукавчики. Ну и дурак же я, незачем было давать ей столько добра; и я не был бы в таком убытке. Но знаешь ли ты, какова она, дон Джованни? Если ты не вернешь себе своего вдвойне, ты будешь большим дураком.

Произнося такие и другие, подобные им, речи, он дождался, пока не настал назначенный ему час, и лишь только он настал, святой отец исполнил все то, что ему было приказано женщиной.

А коварная баба в тот день рассказала своему мужу, как этот священник много раз добивался ее благосклонности. Тогда оба они, сговорившись подвергнуть его жестокому наказанию, распорядились так, как вы уже слышали. И едва лишь она заметила, что дон Джованни вошел в дом, сделав знак Чарпалье и своему брату, которые этого только и ожидались, она, тихонько идя впереди них, застала любовника, который сутился на постели и едва увидел ее, как, ничего не подозревая, пошел ей навстречу и, учтиво поклонившись, хотел было обнять ее шею руками, чтобы поцеловать ее на французский лад. Но не успел он ее коснуться, как появился Чарпалья, крича как сумасшедший:

— Ах ты, блудливый попишка, расстрига, вот когда я тебя поймал, собака еретическая, отверженная господом! Так-то поступают праведные святые отцы? Накажи вас бог, бродяжье отродье! Вам бы свиней пасти да на конюшне быть, а не христиан наставлять по церквам! — и, обратившись к брату, с невероятной яростью продолжал: — Не держи меня,пусти, не держи меня, а то как дам тебе! Оставь меня, я хочу выпустить кровь этой потаскухе, жене моей, и сожрать сердце этого предателя, пока оно еще горячее!

В то время как тот произносил эти слова, священник, делая под себя от страха, спрятался под кровать и разразился слезами и

воплями о пощаде, насколько у него хватило глотки. Но все это было брошено на ветер, ибо Чарпалья пришел с твердым решением, что на этот раз священник примет возмездие от мирян.

Послушайте же, сколь жестоким оно было.

Был у него в этой комнате сундучище, который стоял со времен прадеда и где он держал пояса, платья, цветные рукава и прочие ценные вещи жены. Он его отпер и вынул из него все тряпье, которое в нем находилось, и, силком вытащив священника из-под кровати и заставив его спустить подштанники (которые тот в ожидании Тонии на себе расстегнул, для того, как я полагаю, чтобы ее не томить), он схватил его за признаки, которые, оттого что святой отец имел обыкновение частенько без штанов полудновать с женщинами, были у него большие и хороших размеров, и заложил их в этот сундучище. И, опустив крышку, запер сундук ржавым огромным ключом, висевшим поблизости на крюке. Взяв у брата тупую бритву, которой жена иногда брила его по субботам, он положил ее на сундук, и, не говоря больше ни слова и затворив за собой дверь в комнату, пошел по своим делам.

И вот злосчастный священник, оставшись, вы себе представляете, в каком состоянии, был сразу же охвачен такой болью, что едва не лишился чувств. И хотя, так как замок был весь поломан, крышка на целых полпальца не доходила до края сундука и поэтому сначала не причиняла ему никакой или очень незначительную боль, тем не менее всякий раз, как он видел бритву и думал о том, за какое место он привязан, у него так болело сердце, что он сам удивлялся, как он до сих пор еще не умер. И не утешай он себя немного надеждой на то, что они это сделали, чтобы его попугать, и потому не замедлят спасти его от этой муки, я думаю, что случилось бы как раз то, о чем я вам говорил. Но после того как он пробыл в таком положении некоторое время, колеблясь между страхом и надеждой, и увидал, что никто не приходит ему на помощь, а орудие его, которое стало наливаться, уже причиняло ему страдания, он принялся звать на помощь. Но, видя, что помощь не приходит, он попытался сорвать замок.

Тут он засуетился и, суетясь, так растянул кожу на своем предмете, что он вспух, а вспухая, начал причинять ему нестерпимую боль. Так что, отложив эти старания, он снова кричал о помощи и вопил о пощаде. И, видя, что помощь не приходит, пощады нет, а боль все усиливается, он, почти что отчаясь в своем спасении, брал в руки бритву, намереваясь вырваться из этой пытки хотя бы ценой жизни, но тут же, охваченный малодушием и жалостью к самому себе, говорил, рыдая:

— О боже, неужто я буду столь жесток к самому себе, что подвергнусь столь явной опасности? Да будет проклята Тония в тот день, когда я ее увидел!

Но, задыхаясь от ужаснейшей боли и не будучи больше в силах открыть рот, он замолкал. Вскоре затем, уставившись на бритву, он брал ее в руку и, слегка напиливая, следил, как сам себе причиняет боль, но едва успевал он коснуться тела, как у него выступал холодный пот и его охватывал ужас, а сердце замирало и словно останавливалось. Не зная больше, что ему делать, он в истоме лег ничком на сундук, и, то плача, то вздыхая, то вопя, то давая обеты, то посылая проклятия, так запыхался, что боль стала совершенно невыносимой; и ему пришлось искать выхода из такого положения. Поэтому, обратив необходимость в доблесть и схватив бритву, он сам на себе исполнил месть Чарпальи и остался без признаков. И такова была одолевшая его боль, что, испустив рев, как раненый бык, он замертво упал на землю.

Прибежали на этот крик люди, нарочно присланные Чарпальей, и не знаю уже какими заговорами своими и хлопотами достигли того, что он не лишился жизни, если только можно назвать жизнью жизнь мужчины, который уже больше не мужчина.

Таков был конец и такова была судьба любви почтенного священнослужителя.

[Новелла IV]

МОННА ФРАНЧЕСКА ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ФРА ТИМАТЕО,  
А ВТО ВРЕМЯ, КОГДА ОНА С НИМ ТЕШИТСЯ,  
ЕЕ ДОЧЬ ЛАУРА, УЗНАВ ОБ ЭТОМ,  
ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ СВОЕГО ЛЮБОВНИКА.  
МАТЬ ЭТО ЗАМЕЧАЕТ И РУГАЕТ ЕЕ,  
НО ЛАУРА МЕТКИМ СЛОВОМ ЗАСТАВЛЯЕТ ЕЕ ЗАМОЛЧАТЬ,  
И ТА, УСТЫДИВШИСЬ СВОЕЙ НЕПРАВОТЫ,  
МИРИТСЯ С ДОЧЕРЬЮ

Так вот, вам надлежит знать, что в Сиене на улице Кампореджи жила (а было это не настолько давно, чтобы каждый из вас не мог этого припомнить) некая монна Франческа из очень хорошей семьи и очень богатая, которая осталась вдовой, имея при себе замужнюю дочку. Не помню уж, за сколько месяцев до того она выдала ее за некоего Мео ди Мино да Росси, который, будучи занят по делам имений великолепного Боргезе, тогдашнего правителя города, проводил большую часть времени вне Сиены. Был у нее и сынишка, которому едва исполнилось семь лет. Не желая больше выходить замуж, она весьма скромно посвятила себя заботам о детях. Так она и жила, а между тем некий доминиканский монах, бакалавр богословия по имени фра Тиматео, увидав, что она еще свежа и красива, на нее позарился.

А так как у него от многих послушаний, которые он на себя возлагал, и от великих постов, которые он частоправлял, так сияла кожа, что можно было бы даже в январскую стужу запа- лить лучину о его румяные щечки, добрая женщина, быть может полагавшая, что для ее мирного вдовьего жития только и недо- ставало такого человека, который бы без лишнего шума обслужи- вал ее вдовьи потребности, подумала, что именно он-то ей и нужен. К нему ли, к ней ли пришли они в первый раз, я вам не скажу, ибо я этого не знаю; довольно с вас, что они добились того, что она породнилась с господом богом и так часто ходила испо- ведоваться и так охотно проводила время в Сан-Доменико<sup>1</sup>, что по соседству шептались, будто она уже наполовину святая.

И в то время как все это происходило так, как вы слышали, Лаура, так звали дочь монны Франчески, уже по многим призна- кам убедившаяся в мудрости своей матери и не желая опровер- гать прекрасную пословицу, гласящую: «куриному отродью и ко- паться след», решила во всем идти по ее стопам. И в короткое время ей удалось так хорошо все устроить, что, когда мать ее открывала свою совесть благочестивому монаху, она у некоего мес- сера Андреуоло Панилини, который был доктором права, обу- чалась тому, как ей вести себя при исполнении супружеских обязанностей.

И случилось в один из многих разов, что добрая вдова, приведя к себе в спальню своего духовного отца, не сумела это сделать достаточно скрытно, чтобы не заметила дочь, которая, не имея больше оснований ее остерегаться, как только в этом убедилась, вызвала через своего братишку некую соседку Аньезу, охотно обслу- живавшую нужды бедных влюбленных, исполняя их поручения, и послала ее к любовнику сказать, чтобы он скорее приходил.

Получив это сообщение, мессер не замедлил явиться и, про- никнув в спальню привычным путем, спокойно улегся с Лаурой в постель. Лаура же, вместо того чтобы вести себя так, чтобы ни

---

<sup>1</sup> Собор св. Доминика.

мать, ни кто другой их не слышал, громким голосом, как если бы она была с мужем, расточала ему самые нежные слова.

— О душа ты моя дорогая,— говорила она,— тысячу раз благословен твой приход! О нежные мои щечки, о румяные мои губки, когда же приведется мне расцеловать вас столько раз, чтобы я изнемогла! Не скажу: «Чтобы насытилась», ибо я уверена, что никогда не буду сыта, хотя бы всю жизнь ничего другого не делала, как целовала вас.

И, так приговаривая, онасыпала его такими поцелуйчиками, что их можно было слышать до самой Камольи. Но и доктор, который был обо всем предупрежден, со своей стороны не отставал в исполнении своих обязанностей, так что в конце концов они подняли такой ужасный шум, что он достиг ушей монны Франчески.

Как только она это услыхала, она, тихо-тихо подойдя и приложившись к двери, за которой они находились, окончательно уяснила себе, что шум этот был не от слов, а совсем от другого. И, как бывает с теми, кто больше печется о чужом грехе, чем о своем, она безмерно огорчилась и, толкнув дверь с невероятной яростью, войдя и застав Лауру на постели, накинулась на дочь с таким бешенством, что, казалось, готова была проглотить ее живьем, и стала осыпать ее самой разнузданной бранью, какую когда-либо приходилось слышать женщинам дурного поведения.

— Скажи-ка мне, негоднейшая ты женщина, кто это, я слышала, с тобой разговаривал с таким удовольствием? Ай, Лаура, Лаура, так ли, ах, так ли поступают порядочные девушки? Разве такие наставления давала я тебе? Для того ли я тебя воспитывала, для того ли вскормила, чтобы ты под носом у меня разыграла такую славную шутку и оказала мне такую честь? Ты видела, чтобы я позволяла себе такое? Бог мой, в кого ты уродилась? Нет, неправду говорят: каких, мол, хочешь детей, такую бери и жену. О, супруг мой, как счастлив ты, что умер прежде, чем мог увидеть своими глазами то, что я сейчас вижу! О, несчастная моя жизнь, вот когда может ликовать вся родня, вот когда может порадоваться бедняжка муж твой, который на тебя не наглядится.

Ты бы по крайней мере подождала совершать столь низкие поступки, пока ты не в его доме и пока он тебя не взял к себе такой, какой, по его мнению, он берет тебя! Убирайся вон, преступная тварь, убирайся вон, долой с глаз моих! Я не считаю тебя больше своей дочерью, грязная ты, бесстыжая! О боже, ведь я отлично бы все заметила, не будь я совсем слепой! Но увы! Как могла я ожидать от своей дочери такой гнусности, когда я и сейчас с трудом заставила бы себя в нее поверить, если бы не слышала все этими ушами и не видела этими глазами! О боже, чрезмерная любовь и сознание того, какова была моя жизнь, заставляли меня видеть не то, что есть! Теперь я знаю, по какой причине намедни утром у святого Августина монна Андреочки говорила мне, чтобы я не водила тебя шататься по всем праздникам; что-нибудь она да знала! Нам одного только недоставало,— чтобы это стало известно по всему городу! Так вот она, эта тесная дружба с Аньезой; вот она, вот она, в недобрый час! Но поверь мне, проклятая богом, я с тобой разделяюсь. Может быть скажешь, что я тебе не дала мужа такого красивого, такого молодого и такого здорового, какого только можно пожелать? Но подожди, пока он вернется, потому что я хочу, чтобы он узнал об этих твоих подвигах и чтобы он сам тебя за них наказал, как ты это заслуживаешь.

Бросая эти и другие им подобные упреки, она подняла такой крик, какого еще никогда не поднимала ни одна бедная бабенка, потерявшая петуха вместе с курами. На это Лаура, которая, пока мать так на нее кричала, все время стояла с опущенными в землю глазами, словно ей было стыдно, отвечала, делая вид, что она вроде как бы теряется:

— Дражайшая мать моя, я признаю, что поступила дурно, и прошу у вас прощения; считаясь как с вашей, так и с моей честью, соблаговолите извинить меня на этот раз и не говорить об этом моему мужу, ибо клянусь вам своей к нему любовью, что никогда больше ничего не сделаю против вашей воли. А для того, чтобы господь бог мне простил этот тяжкий грех и извлек меня из

пасти Люцифера, что в Санта-Мария де Серви<sup>1</sup>, и вынул великое жало, сидящее в глубине моей совести, я намереваюсь исповедаться перед тем, как лечь спать, и потому соблаговолите послать в вашу спальню за святым отцом, которого вы держите там взаперти. Мне хочется, чтобы именно он совершил это добroе дело.

Теперь сами подумайте, милые дамы, что стало с бедной матерью, когда она услыхала такие слова, и не пожалела ли она, что столько прочитала над тем, в чем увидела себя так позорно уличенной. И пока она, чтобы скрыть свой стыд, собиралась наговорить совсем некстати не знаю уж каких глупостей, мессер Андреуоло, который все время оставался за занавеской, потешаясь над тем, что происходило, считая, что ему, как хорошему юристу, полагается разрешить этот казус, неожиданно появившись, сказал ей:

— Монна Франческа, к чему столько слов и все это изумление? Если вы застали вашу дочь с юношой, а она вас застала с монахом, игра вничью, и потому отдайте двадцать четыре динария за один сольдо. Самое лучшее для вас — это вернуться к нему в спальню и сделать так, чтобы я остался здесь с Лаурой и чтобы мы все четверо в священном согласии насладились каждый своей любовью. А это будет происходить настолько незаметно, что никто об этом ничего не узнает; если же вы захотите наделать глупостей, вы положите столько мяса на огонь, что понадобится не одна охапка дров, чтобы его сварить, и первая же вы будете в этом раскаиваться. Так будьте благоразумны и примите, если можете, правильное решение и уж не жалуйтесь потом: мне, дескать, этого не говорили.

Бедная вдовица, не зная, что и сказать от великого стыда, готова была сразу отдать последние гроши, только б удрать, ничего ему не отвечая. Однако, сообразив в конце концов, что он сказал ей правду, она, вся сгорая от стыда, промолвила:

---

<sup>1</sup> То есть Люцифера, изображение которого находится в церкви Санта-Мария де Серви.

— Так как дело явное и я не могу себя оправдать, я ничего другого вам не скажу; делайте, что хотите, но очень прошу вас, благородный юноша, взять на себя заботу о чести моей и моей дочери, так как наше несчастье ослепило нас обеих.

С этими словами, не зная, как дождаться часа, когда она их спровадит, она вернулась в спальню к своему фра Тимотео. Последовав туда за ней по пятам, юноша не успокоился, пока не дал распоряжения, чтобы они в тот же вечер отужинали вчетвером, все вместе, и признали друг друга родственниками, так, чтобы они спокойно и не боясь больше друг друга могли встречаться по своим делам. И таково было это священное согласие, что и та и другая женщина радовались ему с каждым днем все больше и больше. Правда, когда по утрам они иногда, как это бывает у женщин, беседовали друг с другом о подвигах своих любовников, нередко оказывалось, что юноша более чем на один удар бывал превзойден монахом, хотя тот и был малость постарше, так что Лаура немного завидовала матери и учиняла за это великие нагоняи своему мессеру Андреуоло.

[Новелла V]

ФРА КЕРУБИНО<sup>1</sup> УГОВАРИВАЕТ ОДНУ ВДОВУ  
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ  
КАПЕЛЛЫ. ЕЕ СЫНОВЬЯ ОБ ЭТОМ УЗНАЮТ  
И ОТГОВАРИВАЮТ, А МОНАХУ ДАЮТ ПОНЯТЬ,  
ЧТО ОНА СОСТАВИЛА ЗАВЕЩАНИЕ,  
НО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПОКАЗАТЬ ЕГО.  
МОНАХ ВЫЗЫВАЕТ ИХ К ВИКАРИЮ,  
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ И, ПРЕДЪЯВИВ ШУТОЧНОЕ  
ЗАВЕЩАНИЕ, ПОСРАМЛЯЮТ МОНАХА

Вы должны знать, что во всех сословиях гораздо меньше встречается добрых людей, чем злых, и потому вы не должны особенно удивляться, если в среде монахов нередко обитают такие, которые не столь безупречны, как предписывают им уставы, а также, что алчность, сделавшаяся властительницей дворов всех светских и духовных князей, хочет свить себе гнездышко и в обителях бедных монашков.

Так вот, была в Новаре, весьма почтенном ломбардском городе, очень богатая женщина по имени мадонна Аньеза, оставшаяся вдовой после смерти некоего Гауденцио деи Потти; помимо де-

---

<sup>1</sup> В тексте новеллы этот монах называется фра Серафино.

нежной суммы, очень большой для этих мест, он завещал ей несколько имений в полное ее распоряжение при условии, что она больше не выйдет замуж и посвятит себя воспитанию четырех сыновей, которых она от него имела. И не успел этот Гауденцио умереть, как весть о таком завещании долетела до настоятеля монастыря Сан-Надзаро, что сейчас же за воротами Сант Агабьо, который держал специальных соглядатаев, для такого рода дел так, чтобы ни одна вдовушка не ускользала, но препоясывалась бы вервием блаженного св. Франциска и, поступив к ним в белицы, ежедневно посещая их проповеди и заказывая молитвы за упокой души своих предков, посыпала бы ему хорошие ломбардские торты; затем, со временем, воспылавши усердием к добрым делам блаженного фра Джинепро и других почитавшихся ими святых, решила бы построить капеллу в их церкви (где была бы красками написана история о том, как св. Франциск проповедовал птицам в пустыне и как он сварил святую похлебку, и ангел Гавриил нес ему сандалии); наконец завещада бы им имущество, достаточно доходное для того, чтобы они ежегодно могли справлять праздник святых стигматов<sup>1</sup>, обладающих такой чудодейственной силой, что, ей-богу, дальше некуда, и каждый понедельник служить молебен за упокой души всех ее близких, которые осуждены на муки чистилища.

Но так как они, согласно обету нищенства, не могут пользоваться имениями как собственностью монастыря, они недавно открыли тонкий способ приобретать их, принимая в виде пожертвований на построение капелл как имущество, принадлежащее ризнице; они думают, быть может, что таким образом обманут господа бога (как иной из них и поступает с людьми каждый день), — будто бы господь не знает их истинных намерений, а именно — что они это сделали, лопаясь от ненависти и зависти к

---

<sup>1</sup> По преданию, за два года до смерти св. Франциска Ассизского на руках и ногах у него появились язвы (стигматы), соответствовавшие крестным ранам распятого Христа.

широким рясам упитанных монахов, которые, не тратя свою жизнь на то, чтобы бродить босиком и проповедовать где попало в сандалиях, но, обувшись в пять пар носков и в красивые туфли из кордовской кожи, почесывают себе пузо в роскошных кельях, целиком отделанных кипарисовым деревом, и которые, если им все-таки придется выйти из дома, весьма безмятежно и в свое удовольствие катаются на раскормленных мулах и жирных недомерках и не желают слишком утруждать свои мозги изучением многих книг, дабы наука, которую они могли бы из них почерпнуть, не заставила их преисполниться гордыни, подобно Люциферу, и не лишила их монашеской простоты и смирения.

Но вернемся к нашему рассказу. Благочестивый настоятель так взялся за вдову и такой поднялся вокруг нее шум от всех этих сандалий, что она согласилась поступить в третий орден, от которого монастырская братия получала вкусные блюда и роскошные облачения. Но так как им казалось, что все это слишком незначительно, они целыми днями вертелись вокруг вдовы, чтобы напоминать ей о капелле. Однако, считая неприличным отнимать у детей, чтобы отдавать монахам, и будучи, как это вообще свойственно всем женщинам, несколько прижимистой, добрая женщина, хотя и удовлетворяла их на словах, все же не уступала им ни пяди.

И вот, пока они ее упрашивали, а она их надувала, случилось, что она смертельно захворала. По этой причине она послала за фра Серафино (так звали настоятеля Сан-Надзаро), чтобы он пришел ее исповедать. Он явился тот час же и, полагая, что настало время жатвы, в отпущение сказал ей, чтобы она не упускала случая позаботиться о своей душе при жизни и не ждала, пока сыновья, которые жаждут ее смерти, позаботятся об этом за нее, и чтобы она хороенько вспомнила мадонну Лионору Качча, за которую после ее смерти, хотя она и была женой доктора Черваджо, никто из ее детей не удосужился поставить хотя бы одну свечу в день общих поминок; что это, мол, ей ничего не стоит, так как она богата, и что послужит это не только на пользу ее

собственной души и всего ее потомства, но и к чести всего дома. В конце концов он так хорошо сумел изложить свои доводы, что вдова уже готова была согласиться и ответила ему, чтобы он пришел на следующий день, и тогда она сообщит ему свое окончательное решение.

Между тем один из ее сыновей, средний, по имени Агабьо, не знаю уж как, но, разведавши про это дело, сказал о нем другим братьям, а они, дабы лучше все уяснить себе, подумали, что хорошо было бы на следующий день, если монах вернется, комунибудь из них спрятаться под кроватью так, чтобы он мог узнать все дело до конца. И вот на следующий день, когда явился фра Серафино для заключения сделки, Агабьо с помощью братьев проник под кровать матери, откуда он услыхал, как отец настоятель, думая, что его никто не слышит, снова стал так ее обхаживать, приводить столько доводов, ссылаясь на стольких ученых отцов и так пугать ее муками чистилища, что она готова была согласиться оставить двести лир наличными на постройку и на украшение капеллы и сто на изготовление риз, сосудов и прочих необходимых для служения мессы предметов и завещать на эту же капеллу столько, чтобы в ней ежегодноправлялся праздник и заупокойная служба и ежегодно читалась месса, а именно — половину, еще не разделенного имения, которым она владела в Камильяно, неподалеку от лобного места, и которое стоило более трех тысяч лир. Договорившись с ней о правах, обязанностях и прочих необходимых условиях, монах ушел.

Когда он удалился, Агабьо вылез из-под кровати, так что мать его не заметила, и обо всем, что слышал, донес остальным братьям, а они без всякого промедления отправились к матери вместе с некоторыми другими родственниками и ловко отвратили ее от подобного намерения. Как только Агабьо увидел, что она согласна предоставить все воле божьей, он решил подшутить немного над настоятелем и, тотчас же вызвав домашнего слугу, послал его сказать монаху от имени матери, что ему больше незачем приходить к ней в дом с просьбами и напоминаниями о том, что ему

известно, ибо сыновья ее, которые узнали все, порешили его проручить, если он им там попадется; однако пусть он не унывает, потому что она, мол, все же не преминет исполнить то, о чем они договорились, и поэтому, как только он узнает, что господь бог ее призвал к себе, пусть отправляется к серу Томено Альцалендину, которому она поручит составить ее завещание, и пусть, получив от него завещание, позаботится о его исполнении.

Слуга пошел и аккуратно исполнил это поручение, так что фра Серафино больше не возвращался, но, узнав через несколько дней, что мадонна Аньеза, застигнутая не помню уж каким несчастным случаем, предала дух свой господу, он тотчас же отправился к серу Томено и потребовал у него завещание. Сер Томено, уже предупрежденный Агабью о том, что ему надлежало делать, незамедлительно ответил ему, чтобы он шел к Агабью, которому завещание было публично передано накануне. Монах, ничего не ответив, отправился к нему и, выразив ему должное соболезнование, попросил у него разрешения взглянуть на это завещание. На его просьбу Агабью ответил, что он-де весьма удивлен, зачем ему понадобилось то, что ему не принадлежит, а когда монах собрался возразить ему, не помню уже что, он приказал ему убираться вон и идти по своим делам.

Доброго брата это нисколько не испугало. Напротив, надеясь, что завещание во многом должно будет оказаться в его пользу, он, не возразив ни слова, отправился к некоему мессеру Никколо, который был прокуратором монастыря, и, передав ему в руки пять сольди через одного из своих агентов, настоятельнейшим образом поручил ему заняться этим делом. Мессер Никколо, долго не задумываясь, тотчас попросил вызвать сера Томено к викарию епископа с тем, чтобы он предъявил копию этого завещания. Как только сер Томено получил вызов, он отправился к Агабью и поведал ему все как было, почему Агабью, который только этого и ждал, вместе с ним пошел к викарию епископа, большому своему другу, и рассказал ему все, что произошло и что он решил делать, если только тот на это согласен. Викарий, который, как

священник, естественно, недолюбливал монахов, сказал ему, что он весьма охотно на все соглашается. И вот на следующий день, когда наступил назначенный для явки час, фра Серафино со своим прокуратором был тут как тут, с великой настойчивостью требуя завещания. В ответ на это требование Агабьо, выступив вперед, сказал:

— Мессер викарий, я с великой охотой предъявлю его вашему преподобию на том условии, чтобы все, что в нем содержится, точно соблюдалось всеми теми, кто в нем упомянут, кого бы это ни касалось и кто бы они ни были.

— Это разумеется само собой,— отвечал викарий,— ибо законы наши гласят, что всякий испытывающий удобства должен испытывать трудности и неудобства. Так предъявляй же бумагу, ибо этого требует справедливость.

На эти слова Агабьо, вытащив из-за пазухи некую писульку, передал ее нотариусу присутствия, прося, чтобы он ее прочел, и тот так и сделал. Прочитав о назначении наследников и кое-какие другие пункты, которые были включены для приманки врага, он зачитал часть, относящуюся к фра Серафину, которая начиналась так: «А также с целью сохранения имущества моих сыновей и на благо всем вдовицам в Новаре я хочу, чтобы по воле означенных моих сыновей и собственными их руками были нанесены фра Серафино, ныне настоятелю обители святого Назария, пятьдесят ударов ремнем, наилучших и наилучшим способом, каким они сумеют и смогут, затем чтобы он и все прочие ему подобные помнили, что не всегда хорошо уговаривать простодушных старушек и бедных старичков лишать наследства и разорять своих детей для обогащения капелл». От великого смеха, поднявшегося сразу по всему присутствию, нотариус не мог дочитать всего, что там предписывалось; и не спрашивайте меня, как все собравшиеся стали издеваться над бедным настоятелем, который, видя, что он остался с убыtkом и с носом, хотел было направить свои стопы к обители, намереваясь поднять великий шум перед апостольским престолом, как вдруг Агабьо, схватив его за капюшон и что есть силы вцепившись, закричал:

— Подождите, отец! Куда это вы так спешите? Я, со своей стороны, готов исполнить все, что содержится в завещании,— и, обратившись к викарию и все еще крепко держа монаха за руку, он продолжал: — Мессер судья, прикажите посадить его на кобылку, ибо я намереваюсь выполнить свое обязательство, иначе я пожалуюсь на ваше святейшество и скажу, что со мной обошлись несправедливо.

Но так как викарий считал достаточным то, что успело произойти, и так как он вдобавок, и не без основания, все же считался с занимаемой настоятелем должностью и с орденом братьев миоритов, он, обратившись к Агабью, полууштя сказал:

— Агабьо, с меня достаточно твоей доброй воли, но отец фра Серафино, принимая во внимание, что это наследство оказалось бы убыточным для обители, не хочет принять его, а раз он не хочет, ты не можешь его к этому принудить. Так дай же ему уйти.

И он отпустил его с самыми хорошими словами, какие только мог найти. А тот, едва почувствовал себя свободным, вернулся домой полный злобы и пробыл там несколько дней, никому не показываясь на глаза от стыда, и никогда больше не уговаривал вдовиц что-либо завещать для капелл, особенно же если у них были взрослые сыновья, вроде тех, от которых ему пришлось молча снести столь великие издевательства. Правда, если верить тому, что мне как-то говорил один из их братии, викарий чуть было не по страдал, и это дело стоило ему больше пятисот флоринов.

### [Новелла VI<sup>1</sup>]

---

<sup>1</sup> Эти шесть новелл образуют первый день «Бесед о любви», единственный «день», написанный Фиренцулой полностью. Остальные четыре новеллы представляют собою отрывки из других, не завершенных автором «дней».

СЕСТРА АППЕЛЛАДЖА, УДАЛЯЯСЬ В СВОЮ КЕЛЬЮ  
В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ДРУГИЕ МОЛИЛИСЬ,  
НАХОДИТ ОСОБОЕ СРЕДСТВО  
ПРОТИВ ИСКУШЕНИЯ ПЛОТИ;  
А ТАК КАК ОНО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕ,  
ЕЕ ЗА ЭТО ИЗГОНЯЮТ ИЗ МОНАСТЫРЯ

В Перуджии был, да и поныне существует один монастырь, очень большой и полный благородных перуджинских дам, которые, не зная об этом моем рецепте<sup>1</sup>, весьма удалились от устава своего отца св. Бенедикта: действительно, большая часть сестер, а может быть и все, с согласия настоятельницы, только и заботились о том, чтобы получить те удовольствия, которых их лишили либо скучность приданого, либо сккупость отцов, либо пристрастие матерей, либо ненависть мачех, либо иные подобные обстоятельства. И дошли они до того, что, казалось, легче можно было найти скромность в любом другом месте, чем в этом монастыре, так что епископ, под влиянием скорее того недовольства, о котором ему все чаще и чаще заявляли местные жители, чем какой-либо соб-

---

<sup>1</sup> Об этом рецепте, по-видимому, должна была рассказывать предшествующая новелла.

ственной его особой заботы и радивости, был вынужден изыскать какое-либо средство против столь гнусного образа жизни. Посему он приказал часть их прогнать, особенно тех, кто, закореневши во зле, мало был способен вернуться на путь истины; другую часть он удержал, а несколько человек более испытанной жизни — как мирянок, так и монахинь из других монастырей — принял заново. В числе их оказалась почтенная старушка, которая пробыла, распространяя вокруг себя великое благоухание святости, свыше сорока лет в монастыре Монте Луччи и которую он и поставил во главе всех и назначил настоятельницей. Последняя, вводя новые правила и заставляя блюсти старые, примерами и добрыми увещаниями добилась того, что привела эту обитель к должностному послушанию.

В числе прочих распоряжений настоятельница эта постановила, чтобы между ноной и вечерней, с ударом колокола, который она нарочно для того приказывала звонить, каждая монахиня ежедневно была обязана отправляться в церковь, или в свою келью, или куда ей казалось удобнее, и там, по крайней мере полчаса простоявая на молитве просить господа бога освободить ее от всякого злого искушения, в которое она могла бы быть введена своею плотью. И она считала, что та, кого она видела наиболее усердствующей в этом деле, более чем кто-либо стремится к лучшей жизни, ибо думала (и мысль эта была неплоха), что, если устраниТЬ этот соблазн, все остальное пойдет как нельзя лучше.

Но так как все насилиственное недолговечно и нетрудно дурной воде вернуться в свое старое русло, случилось так, что в числе прежних, оставшихся в монастыре, была некая сестра Аппелладжа, которая, будучи молодой и красивой, не смогла долго удовлетворять колоколами и молитвами свой уже разбудораженный аппетит. Поэтому, так как она еще до всяких реформ была влюблена в некоего перуджинского юношу, знатного и очень богатого и пользовавшегося великой милостью Джован Паоло Бальоне, а тот в нее, они так сумели устроить, что очень часто оставались

вдвоем в келье монашки, поверите ли — целых три или четыре дня подряд, и так осторожно, что было почти невозможно кому-либо из сестер это заметить. А так как она не могла находиться целыми днями запертой с ним в своей каморке, как бы ей этого ни хотелось, и для того, чтобы это не обнаружилось, и потому, что ей приходилось по монастырским делам проводить время с сестрами в других помещениях обители, она, как только услышит благословенный колокол, бежала под предлогом молитвы в свою келью, как в царство небесное, так что настоятельница, ни разу ничего не заметившая, видя ее усердие в исполнении этого послушания, имела о ней наилучшее мнение.

Но однажды случилось, что одна из прежних монахинь отправилась в огород набрать немного салату, чтобы послать его одной своей родственнице, как вдруг зазвонил искушательный колокол, и добрая монахиня, боясь, как бы посыльный не ушел без нее, пренебрегла молитвой и стала скорее наполнять свою корзиночку, о чем тотчас же донесли настоятельнице, которая, вызвав ее, задала ей такую трепку, что не приведи бог. И в числе прочих вещей, которые она ей наговорила, особенно обидело ее предложение поучиться у Аппелладжи, которая, мол, никогда не была занята делом настолько важным, чтобы не бросить его, лишь только она заслышила, что ударили в этот колокол. Когда же та, знавшая монастырских курочек, может быть, лучше, чем сама настоятельница, услыхала, что ее попрекают сестрой Аппелладжей, она не вытерпела и, разгневавшись, сказала про себя:

«Во что бы то ни стало необходимо мне посмотреть, откуда берется столько усердия и столько благочестия. Здесь дело нечисто. Я не я буду, если до чего-нибудь не докопаюсь, коли только возьмусь как следует. Одним словом, я решила посмотреть, что она делает в келье. Погоди, погоди только до завтрашнего дня; я не я буду, если не дам посмеяться всему монастырю!»

И так приговаривая, она, вся кипя от злобы, стала дожидаться, когда назавтра настанет час колокола искушения. Когда же он настал, лишь только злая монахиня увидела, что сестра Аппел-

ладжа бросилась в свою келью, чтобы избежать искушения, она, тихо-тихо приблизившись к двери и прорезав острием ножа отверстие в щели, которая изнутри была заделана бумагой, убедилась, что мудрая девушка нашла истинный способ избегнуть искушения. Поэтому, вне себя от радости, она, не производя никакого шума, явилась к настоятельнице, рассказала ей все как было и повела ее поглядеть на происходящее.

Я не берусь выразить вам горе и смятение, охватившее бедную настоятельницу, когда она услыхала о столь гнусном деле; и вправду, показалось ей, что пропали и время и труды, потраченные ею на столь многочисленные реформы. И поэтому, рассвирепев, она направилась к келье сестры Аппелладжи и, насильно заставив отпереть дверь, вошла, увидев собственными глазами то, чего она пред этим, может быть, и не представляла даже в мыслях, и чуть не упала наземь от ужаса. Но затем, обратившись к монашке, она «спустилась на нее с самой отменной бранью, какую когда-либо слышали подобные женщины, застигнутые в таком положении.

— Так вот она, причина твоей набожности, гадкая женщина, дочь сатаны! Так вот почему ты так поспешно бегала запираться в свою келью, потаскуха, блудодейка, срамница! Так вот какие плоды принесли назидания, которые тебе давались, проповеди, которые тебе читались, все мои реформы! Так, значит, для того я покинула Монте Луччи, чтобы видеть столько сраму, чтобы через два месяца собственными глазами увидать то, о чем я там не могла и помыслить в течение сорока лет? Упаси меня боже, чтобы я еще согласилась здесь оставаться и чтобы мне хватило духу пребывать в месте, где враг господень имеет столько силы и столько смелости!

И, сказав девице эти и подобные им слова, она, будучи очень хорошо знакома с тем, кого она с ней застала, и зная, что он не из тех, кто боится царапины, ничего другого не пожелала сказать ему, кроме того, чтобы он подумал, сколько юношей на ее веку кончили плохо, решившись столь тяжкое оскорблени

господу богу, и пусть он будет уверен, что оскорбил того, кто имеет слишком большие возможности за себя отомстить. Потом, снова обратившись к сестре, она прибавила:

— А для этой потаскухи я уж сумею найти отмщение, подобающее такому греху.

Но Аппелладжа, которой успели надоесть все эти разносы, не стала дольше терпеть и, обратившись к ней с таким лицом, будто из них добрая и хорошая она, сказала:

— Мадонна, вы поднимаете великий шум без всякой надобности; а по-моему, вы кругом не правы. Скажите-ка мне на милость, для чего вы приказали, чтобы каждый день с ударом колокола совершилась одиночная молитва, как не для того, чтобы каждая из нас избегала искушения плоти? Так какой же способ или какой путь сумели бы вы найти, который так же хорошо и так же верно уберег бы нас от соблазнов, как тот, который я избрала в настоящее время? Все ваши «Отче наш» и «Богородицы», мне кажется, их только увеличивают, а не уменьшают; если же я иногда после обеда и поступаю таким образом, я после этого ложусь вечером в кровать настолько облегченной и освобожденной от такого рода мечтаний, как ни одна из здешних монахинь. Одним словом, либо вы разрешаете мне избегать искушений по моему способу, либо вы меня отпускаете, чтоб я могла уйти туда, где мне лучше, ибо, что касается меня, я не намерена каждый день надрывать уши господу богу с тем, чтобы проводить ночь в еще больших соблазнах, чем прежде.

Настоятельница, услыхав столь дерзкий ответ, рассудила, что ей выгодней и для монастыря полезней отпустить ее, чем удерживать себе же на позор, и, внявши просьбам и приказаниям юноши, который по возрасту своему больше привык приказывать, чем просить, она уже не могла дождаться, когда освободится от ее присутствия, и дала ей волю уходить, куда ей только вздумается. А Аппелладжа в тот вечер отправилась ночевать к юноше в дом, где впоследствии она многие и многие месяцы избегала искушения плоти без всякого колокола.

[Новелла VII]

ИЗ ДВУХ ДРУЗЕЙ ОДИН ВЛЮБЛЯЕТСЯ ВО ВДОВУ,  
КОТОРАЯ ПОХИЩАЕТ У НЕГО ВСЕ, ЧТО ОН ИМЕЕТ,  
А ЗАТЕМ ВЫГОНЯЕТ ЕГО. ПРИ ПОМОЩИ СВОЕГО ДРУГА  
ОН ВНОВЬ ПРИОБРЕТАЕТ ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ,  
НО В ТО ВРЕМЯ КАК ОНА УТЕШАЕТСЯ С НОВЫМ  
ЛЮБОВНИКОМ, ОН УБИВАЕТ ОБОИХ,  
А БУДУЧИ ПРИГОВОРЕН К СМЕРТИ,  
СПАСАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ДРУГУ

Тому уж много лет жили во Флоренции двое юношей высокого рода и великого достатка. Одного звали Лапо Торнакуинчи, другого Никколо дельи Альбици. С малых лет их связывала дружба столь тесная, что, казалось, они не могут жить иначе как вместе. И после того как они в столь тесном союзе провели свыше десяти лет, отец Никколо умер, оставив имущества больше чем на тридцать тысяч дукатов, а так как в те дни случилось, что Лапо для каких-то его дел понадобилась сотня дукатов, Никколо, не дожидаясь его просьбы, не только ему помог, но и показал на деле и на словах, что тот может распоряжаться его имуществом, как он сам. Поистине признаки благородной и добродетельной души, подававшие всяческие надежды, если бы чрезмерно вольная юность, естественно склоняющаяся ко злу, богатство,

приобретенное без труда, и не слишком похвальное общество не увлекли его на дурную дорогу.

И точно, следя по стопам тех, кто вечером ложатся в постель бедняками, а утром встают богачами и давно уже обретаются в нужде, он был окружён толпой юношей столь постыдного образа жизни, что они сняли бы сияние с любого из великих святых. И, сопровождая его то на ужины, то на обеды и зазывая его когда на один праздник, когда на другой, водя то к той распутной женщине, то к этой, они заставляли его тратить столько денег, что жалко было на него смотреть.

Заметив это, друг его, который был юношей весьма положительным и весьма сдержаным, огорчаясь этим до глубины сердца, целыми днями от него не отступал, напоминая ему о его добре, порицая за проступки и, наконец, оказывая ему все те добрые услуги, к которым его обязывала тесная дружба, их связывавшая. Однако все это ни к чему не приводило, потому что новые друзья со своими не скромными удовольствиями и дурными советами достигали гораздо большего, чем Лапо со своими добрыми увершеваниями. Они же, заметив намерения Лапо, столько стали говорить о нем злого Никколо и так стали осуждать его, что Никколо начал сторониться своего друга и, наконец, избегать его, показывая, что хочет жить по-своему. Заметив это, Лапо с досадой от него отошел и, не имея возможности поступить иначе, предоставил ему жить по-своему. Поэтому с бедным юношей, упорствовавшим в том образе жизни, которого он не должен был вести, и приключилось то, о чём он даже не думал.

Как раз в это время была во Флоренции молодая вдова, красивая, привлекательная и приятнейшего обхождения, которая еще при муже привыкла больше считаться с богатством, чем с честью, и, невзирая ни на свое происхождение, ни на мужнино (а то и другое было весьма благородно), легко отдавала свою любовь тем юношам, которые были не только хороши собой, но и богаты кошельком. И вот, оставаясь вдовой, она тайком подрезала крылья не одному из них, представляясь, однако, тем, кто не особенно

близко ее знал, некоей новой святой Бригиттой. Как только до сведения ее дошло положение Никколо и жизнь, которую он ведет, она тотчас же стала возлагать на него величайшие надежды и, нашедши способ завязать с ним знакомство, молча намекнула, что в него влюблена. Затем, мало-помалу давая ход этому делу и делая вид, будто не может скрываться, она стала осаждать его письмами и посланиями.

Нечего и говорить, что Никколо, которому друзья его внушали, что он некий новый Джербино<sup>1</sup>, этим перед ними чванился, и счастлив был из них тот, кто мог сказать свое слово в ее пользу, восхваляя ему эту новую любовь и превознося его возлюбленную до небес. Такой ценой они от него не раз получали богатейшие и жирные ужины. И так они его взвинтили, что он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда был с ней или о ней беседовал с этими своими собутыльниками.

Она же, притворившись, будто изнывает, добилась того, что оказалась с ним наедине ради того дела, что она уже проделывала со многими другими. А будучи, как уже говорилось, красивой и обходительной и владея искусством сводить с ума мужчин лучше, чем любая распутная женщина, двадцать лет ходившая по рукам, она то самыми ласковыми словами, то самыми жестокими, то притворяясь, что больше не может жить от любви к нему, то возбуждая в нем ревность к новому любовнику, то заставляя брать ее в жены и тут же на это не соглашаясь, то выгоняя его, то снова вызывая, то изображая, что она от него забеременела, довела бедняжку до того, что он сам уже не знал, где он, и все остальное вылетело у него из головы: дела были запущены, новые друзья забыты вместе со старыми. А она, как только заметила, что птица больше не нуждалась в приручении, оставя все другие заботы, занималась только тем, что подстригала ей крылья, чтобы она не могла улететь. И в короткое время так их подрезала, что

---

<sup>1</sup> Красавец, герой одной из новелл «Декамерона» (день четвертый, новелла IV).

это не только огорчило Лапо, который был ему истинным другом, но до глубины сердца опечалило и тех прежних друзей, которые заманивали его в эти сети, ибо они считали, что все то, что молодая женщина у него похищала, вынималось из собственных их кошельков. И они имели к тому тысячи оснований, ибо злая женщина своим коварством и кознями довела Никколо до предела, и не то чтобы дать им обед или ужин — у него не осталось достаточно денег, чтобы прожить самому.

А когда он увидел себя доведенным до этого предела, он догадался, насколько было бы лучше, если бы он склонил свой слух на суровые увещания доброго друга, а не на сладкую лесть своих новых приспешников. К тому же он узнал, сколь жалкий конец имеет любовь к тем женщинам, которые не от любовного пыла, а от жадности к деньгам предоставляют другим свое тело. И точно, Лукреция (так, насколько я помню, звали вдову), видя, что у него не хватает средств и что он доведен до крайности, положила конец и своей притворной любви и так стала вести себя, что он легко мог заметить, как слабо теперь грело ее пламя. Но превыше всякой меры задело его то, что он обнаружил новые любовные шашни своей милой, которая, проведав, что некий Симоне Давици остался богатейшим человеком после смерти своего отца Нери, начала им увлекаться и сходила с ума, совершенно забыв о Никколо.

Поистине мудрая, ловкая и счастливая женщина! Ведь она так хорошо сумела приучить свои глаза и вышколить свое сердце, что чужую красоту замечала лишь постольку, поскольку видела в ней блеск золота или серебра, и чуяла любовь лишь постольку, поскольку слышала звон денег. Никколо же, видя, что дела его с каждым днем принимают все худший и худший оборот и что с ним так странно обращается та, которую он любил больше собственной жизни, и так как в нем от странностей этих не только не уменьшалась, но с каждым днем увеличивалась любовь или, лучше сказать, неистовство, и он жаждал быть с ней, как и прежде, и не находил для этого средства, полный гнева и досады, сетуя

один-одинешенек и на себя и на нее, он не знал, что делать, и положение его было самое жалкое. Прежние друзья, которые пришли с богатством, с богатством и ушли; родственники не хотели его видеть; соседи поднимали его на смех; чужие говорили: поделом ему; кредиторы его преследовали; Лукреция его больше не узнавала. После того как он много раз сам с собой размышлял над всеми этими обстоятельствами, они повергли его в такое отчаяние, что он стал думать о последнем и крайнем пути: не положить ли ему конец всем этим мукам какой-нибудь неслыханной смертью. И, может быть, он и привел бы свою мысль в исполнение, если бы, вспомнив о дружбе, которая между ним и Лапо была такой тесной, и будучи твердо уверен, что в нем не должна была угаснуть память о такой любви, он не подумал, что хорошо было бы, отбросив всякие другие соображения, отправиться к Лапо и, поведав ему свои несчастья, попросить у него прощения бога ради. Итак, без лишних слов, он, отправившись к нему, поступил так, как решил. Лапо, который, правда, теперь уж ничего не мог сделать и отдал, как говорится, три хлеба за пару<sup>1</sup>, не переставал, однако, о нем сожалеть. Убедившись по его словам, что друг в еще большей беде, чем он думал, он испытал от этого величайшее огорчение и, понимая, что тот нуждается в помощи, а не в совете, ласково сказал ему:

— Дорогой мой Никколо, я не хочу поступать как те, которые, после того как уверчивали своего друга, но не добились никакой пользы, имеют обыкновение попрекать его своими советами, ибо мне кажется, что такие люди не стремятся ни к чему иному, как только к восхвалению самих себя и к порицанию тех, кто не захотел принять их предупреждениям. Ты знаешь, что, когда я увидел, как ты вступаешь на тот путь, который привел тебя туда, где не хотелось бы мне тебя видеть, я, убеждая тебя словами, исполнил по отношению к тебе обязанность доброго друга. Теперь же, когда обстоятельства таковы, что слов уже не достаточно, я не

---

<sup>1</sup> То есть махнул на все рукой.

хочу на деле изменять этой же обязанности. Мало того, считая, что я заблуждался вместе с тобой, я хочу разделить с тобой и наказание, ибо весьма сладостным будет для меня наказанием, когда я увижу, что мне представляется случай показать другу свою решимость. А насколько эта обязанность была похвальна и достойна одобрения всегда и во всяком месте, о том с величайшей ясностью свидетельствует малое число людей, ее исполнивших. А так как мне любо оказаться в их числе, я перейду с тобой к действиям. Итак, идем со мной.

И, не говоря больше ни слова, взяв его за руку, он повел его в свою спальню и, открав шкатулку, в которой держал свои деньги, он дал ему их в таком количестве, что тот отлично мог понять, насколько друг его любит. Затем он стал утешать его нежнейшими словами, чтобы тот не унывал, давая понять ему, что, когда Никколо истратит эти деньги, он не преминет помочь ему всякий раз, как друг в этом будет нуждаться. И после того как Лапо сделал ему такой щедрый подарок и так обнадежил его на будущее, он начал в мягких выражениях слегка задевать его прошлую жизнь и ловко порицать в его глазах поведение той женщины. Эти слова его были сказаны с таким весом, что они, хотя сразу и не рассеяли у его друга мысли о ней, тем не менее поселили в его сердце некое отвращение к самому себе и зажгли в нем великий стыд, так что он любил ее уже против собственной воли и уже искал случая потушить в себе это неистовство.

Однако добрая женщина, вскоре узнавшая, как сильно поправились его дела, полагая, что все это ей на пользу, и не желая его терять, вторично начала осаждать его письмами и посланиями, так что он был вынужден снова пасть в ее объятия. Она же, давая ему понять, что он красив как никогда, и что она его любит как никогда, и что все произшедшее между ними случилось не по ее вине, а по вине родственников и невесть какой домашней служанки, и что охватившая его чрезмерная любовь к ней, часто заставляющая и здоровое зрение видеть то, чего нет, посеяла в нем ревность к тому, чего не было и не могло быть на самом

деле,— так ловко сумела связать его по рукам и ногам, что выгудила у него добрую часть полученных им денег.

И она выгудила бы их все, не случись, по воле ее злого рока, что в одну прекрасную ночь, когда он был в се доме и уснул после любовных забав, она, еще не спавшая, догадалась по условным знакам, что новый любовник подошел к дому. Тогда, влекомая своей превратной судьбой, которая призывала ее к расплате за ее поступки, и думая, что Никколо, как говорится, привязал осла к крепкому колышку, дна решила дойти до двери, чтобы малость поразвлечься с новым возлюбленным. Поэтому, поднявшись и накинув небрежно какое-то свое платьице, она тихо-тихо подошла к потайной двери своего дома и, отперев ее, без особых затруднений впустила любовника. И, слово — за слово, за словом — дело, они так понадеялись на сон Никколо, что пробыли гораздо дольше, чем то им было нужно.

А Никколо между тем проснулся и, не найдя Лукреции возле себя, позвав ее несколько раз и не получив ответа, решил, что дело неладно. Поэтому, быстро вскочив на ноги, одевшись в темноте, как мог, и препоясавшись мечом, он тихонько направился туда, где были они, и, прежде чем кто-либо из них это заметил, он оказался у них в головах. Увидав, как они растянулись на мешках с мукой, он внезапно был охвачен таким гневом и такой яростью, что, не думая о том, что делает, выхватил меч и так здорово полоснул по обоим, что почти начисто отсек голову Симоне и жестоко ранил женщину в руку. И, приходя все в большее неистовство и умноожая удары, он не остановился, пока не увидал, что они оба лежат мертвые. Все домашние сбежались на этот шум и подняли великий плач над влюбленной молодой женщиной, у каждого нашлось, что сказать. Но Никколо, который еще не сознавал своего заблуждения, выбежав из дома и думая, что совершил славное дело, объятый яростью, с окровавленным мечом в руке, понесся к дому Лапо, желая вместе с ним порадоваться тому, что случилось; как вдруг наткнулся на стражников барджелло<sup>1</sup>, которые, увидев, что

---

<sup>1</sup> Так назывался начальник городской стражи.

он бежит в таком виде, и думая — а ведь это так и было,— что он совершил какое-нибудь преступление, схватили его и тотчас же отвели в тюрьму, где он охотно и без всяких пыток во всем сознался. И посему он, как убийца, был приговорен к смерти.

Но верный друг, полагая, что теперь настало время доказать великую силу дружбы, столько сделал при помощи родственников, друзей, судейских кляуз и денег, что спас ему жизнь, заменив смертный приговор вечной ссылкой в Барлетту в Апулии. Но и этого ему было мало; сделавшись добровольным изгнаником, оставив сладостную и любимую родину, Лапо отправился жить вместе с ним в суровой и чужой стране, где поддерживал его своими средствами во всем, в чем только тот ни нуждался, и, снова призвав заблудший дух к заброшенным им словесным наукам и к множеству других похвальных занятий, он добился того, чтоими обоими в высшей степени стали дорожить властительные особы этих краев, особенно же король; они со временем столько хлопотали перед флорентийской синьорией, что Никколо смог проживать в Неаполе в свое удовольствие, где, покуда он был жив, оба друга пребывали в большом довольстве. Когда же он умер, его, по распоряжению Лапо, перевезли во Флоренцию и похоронили в Сан-Пьер Маджоре в роскошной усыпальнице и с торжественным обрядом, подле прочих его родичей, причем Лапо приказал, чтобы и его там похоронили после его смерти, так чтобы и смерть не разлучила этих тел, души которых не смогли разлучить столько жестоких невзгод.

[Новелла VIII]

В городе Флоренции жил, тому немного месяцев, некий Дзаноби ди Пьерио дель Чима, один из тех добрых человечков, которые молятся распятию, что в Сан-Джованни, тому, что в Кьярито, и тому, что в Сан-Пьер дель Мурроне; и он, видимо, больше доверял Благовещению, что в Сан-Марко, чем тому, что в Серви, ибо, обычно говорил он, то более древнее и написано более просто, и приводил не помню уже какие еще доводы, вроде того, что у ангела лицо более удлиненное и что голубь белее, и другие подобные рассуждения. И я знаю, что он не раз бранил приора, почему тот не держит этот образ под покровом, и ссылался на то, что Благовещение в Серви и Пояс в Прато<sup>1</sup> прославились не чем иным, как тем, что на них дают взглянуть только одним глазком, да и то со всякими церемониями.

Как-никак, но был он человек хороший; часто исповедовался, постился по субботам и каждый праздничный день бывал у вечерни; а те обеты, которые он давал всем этим распятиям, исполнялись им точка в точку, хотя он и пускал в оборот кое-какие

<sup>1</sup> «Пояс богородицы» — чудотворная реликвия, хранившаяся в соборе г. Прато.

свои денежки, которые круглым счетом приносили ему мало-мало тридцать три с третью процента в год. И так он жил себе — без жены и детей, с одной только старухой, которая пробыла сорок лет в доме,— самой что ни на есть прекрасной и спокойной жизнью.

Так вот, желая, чтобы его видели в числе консолов его цеха, он дал обет тем повешенным, я хочу сказать — распятым, которые находятся в капелле семьи Джоконди, что в алтаре церкви Серви, а именно: получи он это звание, он тотчас же отдаст сто лир на приданое какой-нибудь бедной девушке. И это было услышано. А было это великое дело, потому что распятые еще не были дописаны, так что сами подумайте, что бы они сделали теперь, когда они закончены,— к тому же сейчас их уже и числом больше. И едва только добрый человек был возведен в сан, как он, вне себя от радости и сияя, как именинник, рассказал о своем обете духовнику, некоему серу Джулиано Бинди, настоятелю или капеллану церкви св. Ромео, которого почитали за святыньского. Этот предложил ему некую монну Мекеру из Каленцано, о которой, когда он сам был помоложе, шептали уже не зная что, но чего я ни за что не стал бы утверждать, ибо о духовных особах, особенно же о тех, кто исповедует, читает мессу с опущенными долу глазами, печется о наших душах и об имуществе вдов, грешно не то что говорить — подумать что-либо дурное; довольно с нас, если мы будем знать, что он ей благоволил и что всякий раз, как она приезжала во Флоренцию, она останавливалась в его доме со всеми своими пожитками.

Узнав от него, в чем дело, она тотчас же отправилась повидать Дзаноби и умолять его, чтобы он ради Христа согласился передать это пожертвование ее дочери, которая была уже на выданье, но не имела никакого обеспечения.

То ли благодаря содействию священника, то ли оттого, что она сумела уломать Дзаноби, но добрый человек обещал ей пожертвование и составил на это собственноручную расписку такого рода, что, если эта ее дочь будет выходить замуж, он обещает ей

сто лир наличными. Другие утверждали, что он расписки ей не дал, но, пообещав на словах, впоследствии заплатил мужу, и это более правдоподобно и более приемлемо в связи с тем, что увидите ниже. Но правде — место, и пусть каждый думает, как ему покажется лучше, ибо я не хочу ни за что отвечать.

Получив расписку, или обещание, добрая старушка вне себя от радости вернулась домой и занялась поисками, чтобы выдать дочь замуж. И через посредство священника в Каленцано, который был ей совсем свой человек, она через немного дней нашла дочери мужа, весьма для нее подходящего, который едва только успел с ней обручиться, как уже не то от Дзаноби, не то от своей тещи, но, во всяком случае, для верности расписку получил: и вот, едва помолвившись с ней и передав ей кольцо, он был принужден на несколько недель отправиться в Кьянти по каким-то своим делам, не знаю уж каким, намереваясь взять ее к себе в дом, как только вернется.

Но случилось, что он задержался гораздо дольше, чем рассчитывал, так что монне Мекере, которая думала, что он, пожалуй, больше не вернется, пришло в голову сыграть хорошую шутку и попытаться выудить эти сто лир. И как на это согласилась дочка или какая была ее цель, этого я себе представить не могу; но, как бы то ни было, монна Мекера нашла некоего парня, своего соседа, ходившего на поденную работу, которому, вероятно, было года двадцать четыре или двадцать пять, но никак не больше. Он, хотя и прикидывался простачком, тем не менее, наверное, был негодяем, а звали его Меникуччо далле Прата.

И, отведя его в сторону, старуха сказала ему:

— Меникуччо, если ты захочешь сделать мне большое одолжение без всяких для тебя расходов и хлопот, ты будешь причиной тому, что я найду сто лир все равно что на дороге, и тому, что моя Сабатина (так звали дочь) не кончит плохо. Дело в том, что один флорентиец мне обещал, когда я выдам ее замуж, дать ей сто лир приданого. А как ты знаешь, я просватала ее за Джанелло дель Мангано, который отправился потом в Оринчи и

прислал мне сказать, что не хочет ее брать и не хочет возвращаться сюда, если я не дам ему сто лир вперед, а тот флорентиец, что их обещал, говорил, что не даст их мне, если я не отдалась от девчонки, так что я и не знаю, как быть, ибо каждый из них вроде как прав, а бедная Сабатина между тем страдает. По совести говоря, меня от этого в жар бросает, и вот уже несколько дней словно нечистый в меня вселился, потому что я вижу, как целый день вокруг нее увиваются всякие бездельники из здешних граждан, которые мне не нравятся. Да и у нее эдакий вид — ты знаешь, как иной раз бывает, особенно когда нет мужчины. А там и уважать перестанут. Плохо приходится бедному человеку. Так вот, хотелось бы мне, чтобы ты помог мне раздобыть эти деньги, что было бы делом легким, если бы ты пожелал за это взяться. И на будущее я хочу дать тебе рубашку, новую и нарядную с простроченными рукавами и с вышивкой зернышками на воротничке — ведь равных нам нет во всей этой коммуне, кто бы носил столь нарядные рубашки,—и столько денег, чтобы ты купил себе пару сапог и новую шапку.

Вы отлично понимаете, что Меникуччо, услыхав столь щедрое предложение, навострил уши и ответил монне Мекере:

— Посмотрим: если эта затея выполнима, я охотно за нее возьмусь. Мне-то что! Только бы не угодить под позорный колпак!<sup>1</sup>

— Ах ты, дурачок,— сказала монна Мекера,— посуди, что ты говоришь: ты думаешь, я тебя заставлю делать что-нибудь для нас опасное? Упаси господи! Знаешь ли, что я хочу? Я хочу, чтобы ты притворился мужем моей дочери.

— Ого,— сказал тогда Меникуччо,— вы хотите, чтобы я притворился мужем вашей дочери. Э, да кто же, черт возьми, не знает его? Нет, нет!

— Не здесь, нет,— быстро отвечала монна Мекера, — не в Каленцано — во Флоренции, во Флоренции, где ни ты, ни он

---

<sup>1</sup> Бумажный колпак, надевавшийся на преступников.

никому не известны. Мы все вчетвером<sup>1</sup> отправимся во Флоренцию: я, дочка и ты,— и ты скажешь, что ты Джанелло; и скажешь тому флорентийцу, который обещал нам сто лир, что ты как можно скорее хочешь взять ее, а он, который никогда тебя не видел, поверит, что ты — ты, и потому отсчитает тебе сто лир, а ты потом дашь их мне, и этак я смогу послать за Джанелло и заставлю его взять ее к себе, ему же назло, так что он уже не сможет говорить: я, мол, хочу деньги. И я выпутаюсь из этой переделки — иного способа расхлебать эту кашу я не вижу.

Мениуччо дело это показалось легким во всех отношениях, разве только что он все-таки боялся, как бы этот флорентиец его не узнал, но старуха так сумела его соблазнить, что он в конце концов согласился и сказал:

— Когда бы на меня и надели позорный колпак, что с того?<sup>2</sup> Я и носилки нашивал и бочку с вином, которые больше и куда тяжелее. Но сами посудите: если вы хотите, чтобы я пошел с вами, давайте мне каждый день по карлину<sup>2</sup> ради того времени, что я на это теряю,— ведь я без всякой для себя опасности вырабатываю столько же: то здесь кому поможешь, то там, вот я и нарасхват.

Она ему это обещала.

И вот после того как она привела его к себе домой и обсудила дело с девчонкой, они, без всяких препирательств, договорились о том, что им предстояло делать и расположились провести время дома, пока не настанет час отъезда, а утром спозаранку отправились во Флоренцию к Дзаноби.

Многие утверждают, что, так как этот Мениуччо был белобрысый с жиidenькой бородкой, полагался во всем на женщину и, мало того, был из тех, которые ведут себя как скопцы,— что, мол, девчонка, которая была не дура, задумала сделать так, чтобы мечта ее осуществилась. Другие же поговаривали, что сам он больше рассчитывал на девчонку, чем на обещания Мекеры, и что хотя он и притворился простачком, но был, как мы говорили,

<sup>1</sup> Старуха в увлечении спутала счет.

<sup>2</sup> Серебряная монета, имевшая хождение в Неаполе, Сицилии и Тоскане.

негодяем, который и не то еще проделывал. Как было дело, я утверждать не берусь, но, если бы спросили мое мнение, я бы сказал, что могло быть и то и другое.

И отправились они, как уже было сказано, к Дзаноби, который как раз вернулся, отстояв службу в Орто Сан Микеле, и сказали ему, что явились получить сто лир, потому что-де Меникуччо, которого они выдавали за мужа, хочет взять к себе девушку во вторник вечером, а была как раз суббота, и что они в понедельник на рынке в Прато хотели купить кровать и сделать тысячу других своих дел. Добрый человек, только накануне вечером вернувшийся из Риббий после осмотра имения, которое он хотел там купить, принял их очень радушно и сказал, что он готов им усугубить, но хочет самолично убедиться в том, что девица на это пойдет, так как он ни в коем случае не желает остаться в дураках, и потому он согласен дать им поужинать, одолжить им кровать и предоставить им все необходимые удобства, чтобы они на следующий вечер сочетались браком в его доме.

Таким образом, им пришлось согласиться на его требования, и на следующее утро, а это было воскресенье, они отстояли свадебную обедню как муж и жена и затем вечером отужинали за столом Дзаноби, где они получили даже студень, пироги с яйцами, а кто говорит — и белое вино. И они забавлялись всеми проказами и играми, которыми забавляются новобрачные в таких обстоятельствах, доставляя этим превеликое удовольствие добряку Дзаноби, которому казалось, что он-то и есть виновник такого счастья и что юный Христос, ведущий спор во храме, в Орто Сан Микеле около органа, непременно в этом году должен даровать ему за его заслугу какую-нибудь важную удачу.

После того как они вволю наужинались и пришло время ложиться спать, он предложил новобрачным отправиться ночевать в комнату под лестницей, где обычно останавливался его работник, когда приходил к нему с корзиной меду, а монне Мекерре он сказал, чтобы она шла ночевать с его старухой, но так как она во что бы то ни стало хотела ночевать в одной комнате с дочкой, он, считая, что это не дело, ни за что не хотел этого допустить. Тогда, чтобы не вызывать подозрений там, где их не должно было быть, она повиновалась. Тем не менее, подозвав

Сабатину, она повела ее из той комнаты в укромное место и с глазу на глаз прочитала ей большую проповедь, чтобы она ни за что не позволила Меникуччо посеять свои бобы на ее фиевом холме, и, не довольствуясь тем, что добрая девочка ей это обещала и клялась раз двадцать, она зашила ей рубашку снизу, сверху и в рукавах двойной ниткой, чтобы она не могла ее с себя снять, и так положила ее в постель. Затем она позвала Меникуччо и, заставив его тысячу раз поклясться и тысячу раз побожиться, что он с ней будет обходиться как с сестрой, уложила его рядом с дочкой и, выйдя из комнаты и заперев дверь, пошла ночевать к той старухе.

Не прошло и получаса, как мнимые супруги пробыли в кровати, и вот то ли от жарких простынь у Сабатины начался небольшой зуд внутри, между ляжками и пупком, то ли ей вздумалось заставить Меникуччо помочиться или ей самой захотелось, но, как бы там ни было, она стала пытаться разорвать рубашку и так билась руками и ногами, что выпуталась. А парень, почувствовавший, быть может, угрызения совести, что попал в это место, начал потягиваться, как делает человек, когда зевает, так что, словно невзначай, касался девицы, которая уже сняла рубашку. Она же, вероятно что-нибудь себе отлежав, стала к нему поворачиваться, а он к ней, так что у них началась схватка. А так как Меникуччо был сильнее, он подмял ее под себя и здорово ее прижал, но потом, решив, вероятно, что поступил нехорошо, и желая помириться, начал обнимать и целовать ее с такой нежностью, словно она была его женой. Но так как она все-таки продолжала сердиться и в пылу сражения натыкалась своим лицом на его лицо, он снова приходил в ярость и снова подминал ее под себя. И это проделали они семь или восемь раз, так что в конце концов добрая Сабатина вошла во вкус, сама под него подлезла, выжала его как виноградину и исторгла у него слезы, да так, что ей самой стало его жалко и она сама прослезилась; тем не менее она так храбро держалась, что, думается мне, сражалась она не впервые.

И наконец, когда настал час вставать, монна Мекера отправилась в комнату, и, увидев, что рубашка разорвана и что заключенные вышли на свободу и побывали на бойне, что на Дырявой улице, она собралась было поднять великий шум, однако, опом-

нившись, не желая выдавать обмана и убедившись, что нашла то, что искала, она, передумав, удержалась и, обратившись к Меникуччо, стала просить его ради бога никому ничего не говорить.

И так без долгих слов они, одевшись, отправились к Дзаноби, который ожидал их у кухонного очага и занимался тем, что объяснял «Цвет добродетели»<sup>1</sup> своей старухе, будучи в этом вопросе ученей самого сера Сано дель Кова. Пожелав им доброго дня и доброй годины и весело их поздравив, он раздобыл им чем позавтракать и затем, дабы поступить, как мессер Пьетро Фантини, передал им в платке сто лир. Благословив их и попросив, чтобы они его иногда посещали, он отправил их домой, осененных его крестными знамениями и благословениями, но не догадался заставить вернуть расписку.

А они, очень веселые и очень довольные, возвратились в Каленцано, где старуха согласилась на то, чтобы Меникуччо в счет тех вещей, которые она ему обещала, получил соответствующее количество плоти от девчонки, полагая, что раз уж она дала ей запустить руку в тесто, то квашня пачкается одинаково — заметить ли на десять хлебов, на двадцать или на сто.

И так дело продолжалось месяца два, пока не вернулся Джанелло, настоящий муж. Он через несколько дней по приезде собрался взять жену к себе в дом и, не посоветовавшись с тещей, которая все погубила, отправился во Флоренцию; застав Дзаноби как раз у обедни перед алтарем девы Марии в Санта-Мария ин Кампо, он после всяких красивых оговорок попросил у него сто лир. Когда Дзаноби услыхал его речь, он, ничего не говоря, посмеялся, думая, что это шутка. Однако Джанелло начал кричать, что порядочные люди не дают обещаний, чтобы потом от них отступаться, и что он женился, полагаясь на его слова, и что, если он не даст ста лир, он пойдет туда, где найдет справедливость, так что Дзаноби, вопреки всем своим привычкам, был вынужден рассердиться и ответить ему основательной руганью, как все прочие люди:

---

<sup>1</sup> Может быть, «Цвет добродетели, повествующий о человеческих пороках и о том, как должно стяжать добродетель», книга, изданная в Венеции в 1474 году.

— Негодяй,— говорил он,— жулик, где, по-твоему, ты находишься? На улице? Вот уже три месяца, как монна Мекера, и Сабатина, и муж приходили сюда ко мне и в моем доме на моих собственных глазах совершили брак со всеми нежностями, какие полагаются, и я отсчитал им деньги, как в банке, а теперь этот воришко приходит требовать у меня их второй раз! Правда, я не догадался потребовать обратно расписку потому, что я на это не глядел, не предполагая, что христианин сделает мне то, чего я не сделал бы другому. Но этот, наверное, отнял ее у них; однако хорошо, что я записал их в книгу и все в точности отметил, так что тебе ничего не достанется, разбойник. А если ты не уберешься с моих глаз, я пойду в Совет восьми<sup>1</sup> и устрою так, что ты получишь по заслугам.

Тогда Джанелло, видя, что ему угрожает, тотчас же отправился в епископат и потребовал, чтобы вызвали Дзаноби. Когда тот явился и рассказал викарию, как было дело, викарий приказал послать за монной Мекерой, и за дочкой, и за Меникуччо, от которых он услыхал обо всем и все узнал, вплоть до рубашки, и как Сабатина под конец взяла свое. Тогда викарий распорядился, чтобы старуху высекли и чтобы Меникуччо отдал Джанелло сорок лир, которые старуха разбазарила из сотни, и чтобы Джанелло взял Сабатину к себе в дом, словно не зная, что Меникуччо ее уже продырявил; а этому пришлось продать жалкое поле, которое у него было, чтобы заплатить сорок лир. И говорят, что викарий вынес ему этот приговор за то, что он надул его со свадебной обедней, но мне не кажется, чтобы он его надувал, раз он совокупился, и полагаю, что ему нанесли великую несправедливость. И так он научился понимать смысл изречения: *futuro caret*<sup>2</sup>, а это означает, что плоды, то есть фиговые цветы, дорого стоили бедному Меникуччо. И все-таки кто однажды насладился, не век же тому страдать.

### [Новелла IX]

<sup>1</sup> Политико-судебная коллегия во Флоренции.

<sup>2</sup> Лишен будущего (лат.). Смысл не совсем ясен.

\* \* \*

Если бы кто сказал: «Поймали лису», вы бы не удивлялись, помня ту пословицу, которая гласит: «И лисицы попадаются», тем более что вы подумали бы: ее погубила хитрость какого-нибудь ловкого человека или сила какого-нибудь свирепого зверя. Но когда бы вы услыхали, что простая голубка, едва успев вылететь из гнезда, поймала двух лисов, а в числе их одного матерого и хитрого, который успевал опустошить вчетверо больше курятников, чем другие, вы не только бы удивились, но и сочли бы это невозможным. А тем не менее это случилось в Прато на вашей земле, в прошедшие времена. Если я сумею рассказать вам об этом так же ловко, как это было сделано, я ничуть не сомневаюсь, что насмешу вас. Однако я что-то робею — и все же попытаюсь.

Вам знаком Сантоло ди Доппьо дель Куадро, один из тех людей, что грели зады на раскаленном горохе, вам известно, что он мочился во многие снега и знает, по каким числам бывает св. Бьянджо<sup>1</sup>; и когда кто спросит его: «А это почему так?» — он умеет ответить: «Потому что господь бог родился зимой». Он знает, какого рода богоявление, мужеского или женского, и когда приходит високосный год. А так как он довольно-таки жир-

---

<sup>1</sup> Все три поговорки означают человека бывалого, которого не так легко провести.

ненький и ходит стриженым, и носит усы по старинке, и играет в шахматы в фартуке, и ходит на площадь с корзиной, люди думают, что он малый недалекий. Однако не тут-то было: он себе на уме не хуже всякого другого даже тогда, когда играет в джиле<sup>1</sup> с женщинами, и никогда еще не оставался в дураках. Он человек добрый, и, если вдове нужно заказать юбку для своей дочки на выданье, он охотно поможет ей в этом, а расплатится она если не иначе, так пряжей, хотя бы после того, как выдаст дочь замуж, потому что он за год изготавляет много холстин для продажи и охотно дает людям попрясть, но требует, чтобы пряжа была нежной, а потому отдает ее девицам по гроссу<sup>2</sup> за фунт. А когда он попадает туда, где вокруг очага женские посиделки, он усаживается на низенький-низенький стул и, когда у них веретено падает в пепел, он его поднимает и возвращает им с поклоном, самым что ни на есть изящным, и рассказывает им коротенькие-коротенькие рассказики, от которых они покатываются, со смеху: словом, он человечек хоть куда, но главное — добрый товарищ, любезный, обходительный, охотник пошутить и постоянно бы дурачился, если бы только мог, а когда его дурачат — не сердится.

Так вот этот человек, узнав, что один из его приятелей женится, тотчас же задумал, как это принято в наших местах, устроить ему засаду, чтобы что-нибудь получить от молодой, а потом посмеяться над мужем, юношей учтивым и благородным, который и сам привык каждый день весело подшучивать над другими и от чужих шуток не приходил в уныние. Посему Сантоло отправился к другому своему приятелю из тех покладистых малых, что когда им говорят: «Идем» — они идут, а когда им говорят: «Не надо» — они остаются. И так ему трудно сказать «нет», что если он с тобой договорился идти куда бы то ни было и дожидается тебя, пока ты сходишь за плащом, а в это время подойдет другой, чтобы увести его куда-нибудь еще, он, не умея отказываться, пойдет с ним. Одним словом, не сыскать человека более услужливого: если он играет в карты и скажет товарищу: «Дай одну малень-

---

<sup>1</sup> В прямом смысле — карточная игра.

<sup>2</sup> Флорентийская монета.

кую», а товарищ дает тридцать два, он говорит: «Хорошо». Если он скажет: «Дай один воздух», а тот дает ему «саламандру»<sup>1</sup> он говорит: «Хорошо, кум, хорошо». Никогда не сердится, никогда не ворчит, никогда не злословит; способен пить без жажды, есть без голода, поститься без заутрени, слушать за компанию по две обедни в рабочий день, обходиться без воскресенья, зная, что доставляет этим кому-нибудь удовольствие; готов спать до вечера, вставать до рассвета; зимой не ест салата, летом не пьет воды; если кому взгрустнется, он его развеселит, если кто просто весел, он его рассмешит; ему приятней тратить, чем наживать, давать — чем получать, служить — чем приказывать; когда у него есть деньги, он их тратит, когда их нет, он не тратит чужих; если занимает, то возвращает, если дает взаймы, то не требует назад; скажи ему правду, он поверит; скажи ему ложь, он не усомнится; он предпочитает лениться, чем думать; и в одном можно питать к нему великую зависть, что он лучше и с большей твердостью переносит обиды Фортуны, чем кто бы то ни было из тех, кого мне доводилось встречать. Словом, он сделан из самого лучшего теста, когда-либо выходившего из какой угодно квашни, и он как раз из тех, про которых говорят, что у них нет желчи и что они люди хорошего склада, обходительные и приятные.

Так вот, явившись к нему, Сантоло сказал: — Фалльбаккью (так звали того), я хочу, чтобы мы немного позабавились над молодым, который берет к себе в дом Вердеспину, нынче вечером, часа в два; я проследил и с кем она пойдет и откуда; и вот хорошо бы нам вытянуть из них столько денег или такие залоги, чтобы мы смогли за их счет съесть пару козлят, да пожирнее; а жениха позовем к ужину и разыграем его.

— Ого! Хорошо, хорошо! — тотчас же заговорил Фалльбаккью, качая головой и сжимая Сантоло в своих объятиях с теми неуклюжими ласками, какие ему были свойственны.— Ого, мы купим чудных козлят! Слушай, куплю их я, потому что я хочу, чтобы они были жирные, крупные и молочные. О, я поручу их купить Маттео Фаджуоли, который знает толк в этом деле. Ого-го,

---

<sup>1</sup> «Маленькая», «воздух», «саламандра» — термины карточной игры.

я сам сделаю подливу и сварю такую заднюю ногу, что лучше и не бывает. А наварчик-то, дорогой кум, с майораном, а семеники, поджаренные с яйцом! Да, черт побери, попирем! А знаешь? Для начала печенка в требухе с перцем по-кумовски! Но послушай, я не хочу, чтобы мы клали лавровый лист: шалфей, только шалфей!

И он слегка подпрыгивал, склонив голову и говоря:

— Эх, хорошую бы выпивку! Но где бы достать хоть каплю хорошего вина?

Тогда Сантоло сказал:

— Об этом предоставь подумать мне.

А Фаллальбаккьо ему:

— Ну, пойдем, пойдем, мне не терпится.

И так, обсуждая ужин, они дождались известия, что невеста вышла из дома, и тогда тотчас же отправились ей навстречу, да бегом, потому что известие пришло поздно, и все в поту, запыхавшись и без шапок, встретили ее у башни дельи Скрини. Те, кто сопровождал невесту, увидав их издали, стали говорить между собой: «Вон они! Что же нам делать?»

На что невеста, которая, как вы знаете, была молоденькая и вся в слезах от огорчения, что лишилась материнской ласки, отцовской нежности, домашней любви, милых братцев, дорогих сестриц, ответила им:

— Пусть подходят, я их ублажу, потому что мы с матерью давно обдумали способ.

Когда Сантоло и Фаллальбаккьо наконец добежали, они сразу заговорили:

— Дайте нам хорошего отступного, а иначе мы вас не пропустим.

А так как те не отвечали, Фаллальбаккьо, повысив голос, продолжал:

— Если вы нам не дадите хорошего отступного, я посажу себе невесту на плечи и унесу ее, как лиса, которая уносит курочку.

И покуда спутники невесты молча переглядывались, чистая девица, орошая ланиты неподдельными слезами, которые на этот раз сослужили ей службу притворных, и являя сокрушенный вид, будучи к тому же действительно сокрушенной, но по иной причине,

не, с трудом и медлительно сняв с пальца кольцо, сказала им в великом смущении:

— Возьмите этот залог и, прошу вас, больше нас не разыгрывайте. Но смотрите не потеряйте его, потому что это лучшее, какое у меня есть.

И, ничего больше не говоря, она отдала им кольцо. Добродушные простаки, думая, что они, расставив и стянув сети, поймали добычу, вне себя от радости и удовольствия отправились в дом к синьору Антонио деи Барди, где, как это делается каждый вечер, собралось множество дворян, чтобы поиграть и провести время. И вот там, хохоча и поднимая такой шум, что сильнее некуда, они делали вид, что совершили невесть какой великий подвиг, и показывали кольцо кое-кому из сидящих без дела, которые, потому ли что имели в этом мало опыта, или не разобрались в темноте, или только для того, чтобы те укрепились в своей крайней глупости и не так скоро вышли из заблуждения, или почему бы то ни было еще, но сказали им, что кольцо хорошее и стоит несколько скучи, и подкрепили их первоначальную уверенность. А те, дабы слава их распространилась по всей вселенной и лестный слух о великолепном деянии достиг небес, решили пойти в тот же вечер собирать трофеи в наиболее известных местах Прато, чтобы затем удостоиться днем всенародного триумфа.

И первый поход их был в дом монны Аморрориски, красивой и обаятельной молодой женщины, кумы Фаллальбаккю и близкой родственницы невесты. И там они с неслыханной торжественностью рассказали о событии и издали показали кольцо, как показывают пречистый пояс; и если кто говорил: «Ну-ка покажите», они хотели и говорили: «Ишь вы, нашли простачка! Еще отнимете!» Все же в конце концов они согласились показать его монне Аморрориске, которая, как только взяла его в руки, увидела, что тот, кто сделал это кольцо, испортил подсвечник и что камень был найден в Стеклянных горах, и стала смеяться, но, чтобы поводить их немного за нос, сказала:

— Клянусь честью, это прекрасное кольцо; берегите его и смотрите не потеряйте, иначе вы разорите Вердеспину.

— Хорошо, но сколько же оно, по-вашему, монна Аморрориска, стоит? — спросил Сантоло.

— По правде сказать, ночью трудно судить о дорогих камнях, особенно когда они действительно ценные, как этот. Все же, строго говоря, вместе с латунью, стеклом, лигатурой, зубчатой каемкой, оно стоит не больше как четыре кватрина, а то и три.

Тут Сантоло, с важным видом вырвав у нее кольцо, произнес:

— Ты же видишь, что она шутит.

Однако, когда он взял его в руку, то как человек крепкий задним умом, убедился по весу и по цвету, что пошел ловить куропаток с волом, и весь затрепетал от злобы. Тут Фаллальбаккьо сказал ему:

— Эх, брат, что тут рассуждать! Разве ты не видишь, что кума смеется? Покажи-ка его мне. Ого, разве я не говорил тебе, что она дурачится? Черт возьми, ведь это прекрасный рубин! Что я говорю: это сердолик. Нет, нет, дурак я, это бирюза. Словом, что бы это ни было, это прекрасное кольцо. Пойду-ка я вниз к куму, он одолжит мне под него один флорин, чтобы послезавтра купить козлят. Худо ли? Ведь это будет суббота, и козлята будут жирные.

И, ничего больше не говоря, он отправился к куму в лавку и там хоть и с трудом, но все же уяснил себе, что кольцо это стоило того, чтобы приберечь его на тот случай, когда он будет выдавать замуж свою кормилицу. Тогда он и Сантоло, который пошел за ним, начали бряцать оружием, хорохориться и говорить, что они, во всяком случае, на следующее утро стащат всю поклажу из корзинок. И Фаллальбаккьо, обращаясь к куму, сказал:

— Как вы думаете, вещи уже увязаны в корзины?

— Нет, — отвечал кум, — ничего еще не увязывали.

А он:

— Ну что ж, я заберу самое нарядное платье и самые красивые вышитые полотенца, какие там будут, и заставлю заплатить мне вдвое.

Итак, не прибавив больше ни слова, они на этой новой надежде успокоились до следующего утра. А когда настал час отправки корзин, жених, дабы оба приятеля не смогли еще чего-либо учинить, распорядился, чтобы кое-кто из его друзей удерживал

их в этот час при помощи некоторого количества хорошего требианского вина и всякой болтовни, так чтобы корзины можно было в безопасности перенести к нему в дом. Таким образом, снова оставшись с носом, они отправились в Гриньяно играть в кегли.

А так как Вердеспина была недовольна тем, что розыгрыш ее дошел только до середины беговой дорожки, не достигнув флагжа, она сообщила о некоем своем намерении монне Аморориске, которая, согласившись ей помочь, принялась делать то, что ей надлежало. И когда настало субботнее утро, Вердеспина послала сказать Сантоло и Фаллальбаккью, чтобы они вернули ей ее кольцо, так как она готова дать им хорошего отступного, чтобы они могли угоститься парой козлят. Они поначалу подумали, что она хочет над ними подшутить, но некоторые люди, наученные, как им поступать, стали шептаться им на ухо, будто монна Аморориска подменила им кольцо, будто они знают наверняка, что оно стоило более тридцати скуди, будто молодой, узнав о ходе дела, бесится как проклятый и требует свое кольцо назад, так как он, мол, таких шуток не любит.

И что же вы, черт побери, думаете? Ведь они начали этому верить и потому пошли к куме и спросили ее, правда ли, что она подменила кольцо. Она же стала смеяться и, смеясь, это отрицать, но с таким видом, с каким в шутку отрицают правду, и они уже не сомневались, что кума их провела. И, придя в ярость, они стали бить тревогу и почти что с бранью говорить ей, что она сделала их посмешищем на весь Прато, и что так не поступают, и чтобы она им вернула кольцо, и что они этого не потерпят. А она, чтобы еще больше их рассердить, молчала. Тогда Фаллальбаккью громко стал говорить:

— Кума, верните нам кольцо, а не то я вам обещаю, клянусь вам этим крестом (и он на стене начертил крест углем, взятым из очага), что я завтра отниму у вас вашу золотую цепь, когда вы пойдете к обедне, ничуть с вами не считаясь, и сниму у вас ее с шеи посередине церкви.

Тогда она, видя, что воспоследовало то, чего она и хотела, притворяясь обиженной и делая вид, будто она вне себя от гнева, сказала, что она не потому обменяла кольцо, чтобы им нанести

ущерб, или тем более, чтобы присвоить его себе, как они, видимо, думают, но только для того, чтобы день-другой с ними вместе над этим посмеяться, а потом отдать его. Но раз они так оплошили, рассердились на нее и угрожают ей, она намерена поступить с ними так, как они этого заслуживают. Поэтому пусть они и не думают получить его обратно, прежде чем сами не расплатятся двумя козлятами из самых лучших, какие найдутся на площади в это утро.

Тогда Сантоло и Фаллальбаккьо, видя, что она разгневана, и слыша такие ее речи, решили добрыми словами уладить дело. Но все оказалось напрасно, ибо она, оставив их на бобах, ушла в свою комнату, говоря:

— Вы слышали, что я вам сказала.

Выйдя от нее, они стали с грустным видом раздумывать, что им делать. Между тем молодой посыпает им сказать, что он желает получить кольцо обратно и чтобы они заявили, какого они хотят отступного, так как он, мол, хочет удовлетворить их требование, и что теперь уже довольно с них того, что было сделано, иначе он рассердится.

Тогда Фаллальбаккьо, обращаясь к Сантоло, сказал:

— Молодой прав. За чем же, черт возьми, дело стало? Купим куме двух козлят, а там пойдем завтра вечером к ней поужинать и помириться; а если молодой опять потребует кольцо, он должен будет уступить нам во всем, иначе мы его не отдадим.

Итак, остановившись на этом решении, они отправились на площадь, купили двух жирных козлят, отнесли их в дом к куме и сказали ей так:

— Теперь вы нам верните кольцо, вот вам козлята.

Она им со смехом отвечала, что не может им отказать, но собирается вернуть его в воскресенье вечером, чтобы они пришли к ней на ужин отведать козлят, и что она, мол, делает это им же на благо, ибо хочет пригласить к ужину также Вердеспину с мужем, чтобы не составило большого труда удовлетворить их вдвойне.

Те сказали, что она хорошо придумала, но что предварительно необходимо передать молодому, чтобы он их оставил в покое и не требовал кольца до следующего вечера. Она же им сказала,

чтобы они об этом предоставили позаботиться ей,— молодого она сама успокоит.

Когда простачки ушли, монна Аморрориска послала сказать Вердеспине, что для завершения затеянного ими розыгрыша не хватало только того, чтобы она на следующий вечер пришла с мужем к ней на ужин. На что Вердеспина отвечала, что не преминет это сделать.

И вот, когда настал воскресный вечер, монна Аморрориска пригласила много красивых и изящных молодых женщин из своей родни, а также их мужей с тем, чтобы шутка распространилась повсюду и чтобы устроить им из этого великую потеху, а также чтобы почтить свою новобрачную родственницу; молодая вместе со своим мужем пришла в дом к монне Аморрориске, где была приготовлена роскошнейшая трапеза. И явились туда Сантоло и Фаллальбаккьо. И после того как трапеза пришла к концу, монна Аморрориска и Вердеспина, желая, чтобы все узнали о гонке, которую пришлось выдержать Сантоло и Фаллальбаккьо, и над ними поиздевались, рассказали, как было дело, что вызвало общий смех, и мужчины и женщины потешались над Сантоло и Фаллальбаккьо, которые вначале хотели было пошуметь, но, видя, что от этого каждый смеялся еще пуще, решили, как люди славные, и сами над этим посмеяться, говоря, что невелико дело, если они просчитались на драгоценностях, потому что они никогда не занимались ювелирным искусством. И так в течение всей этой ночи, которую отменно пропировали, только и было смеху, что над приключениями Сантоло и Фаллальбаккьо. Говорят, что Сантоло смеялся неохотно, ибо ему казалось, что его надули больше, чем Фаллальбаккьо, а посему-де он больше на этом и потерял.

#### [Новелла X]